

ТРУДНО БЫТЬ АНИСКИНЫМ



Ярослав Золотарёв

Ярослав Золотарёв

Трудно быть Анискиным

«Автор»

2026

Золотарёв Я.

Трудно быть Анискиным / Я. Золотарёв — «Автор», 2026

Сибирь, шестидесятые. В деревню Кедровку на Оби пароход привозит нового заведующего клубом — в шляпе, красных ботинках и с перламутровым аккордеоном. Деревня гадает: ревизор или шпион? На самом деле Геннадий Руматов — прогрессор из светлого будущего, а в аккордеоне спрятан передатчик для связи с орбитальной станцией. Он искренне хочет как лучше: несёт в глушь культуру, самоуправление и индустриализацию. Только после каждого его доброго дела в деревне что-нибудь пропадает, кто-нибудь дерётся, а однажды случается настоящая беда. Разбираться приходится участковому Анискину — толстому, неторопливому, хитрому, который знает, кто в деревне когда чихнёт. Иронический роман, где «Деревенский детектив» встречается со Стругацкими: Тройка, Подруги и «массаракш» на берегу Оби. Смешная и грустная книга о том, что будущее нельзя привезти по разнарядке. Трудно быть богом. А Анискиным — ещё труднее.

© Золотарёв Я., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	5
1	5
2	8
3	10
4	13
5	15
Часть первая. Лето	18
1	18
2	20
3	21
4	23
5	24
6	27
7	29
8	30
9	31
Отчёт № 2	33
10	34
ГЛАВА ВТОРАЯ. Генка Пальцев, сын Дмитрия Пальцева	36
1	36
2	38
3	40
4	42
5	44
6	46
7	47
8	49
Отчёт № 3	50
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Луна над Обью	52
1	52
2	54
3	56
4	58
5	60
6	62
7	63
8	65
Отчёт № 4	66
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. Лосиная кость	68
1	68
2	70
3	72
4	74
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Ярослав Золотарёв

Трудно быть Анискиным

ПРОЛОГ

1

Подушку Антон стащил из дома с вечера и всю ночь проспал без неё, на свёрнутой куртке, чтобы утром не пришлось ничего объяснять. Подушка была круглая, диванная, с вышитым тигром, и под рубахой сидела плохо: тигр всё время съезжал набок, и приходилось поддерживать его локтем. Но Антон был уверен, что так и надо. Участковый уполномоченный Анискин тоже, наверное, всё время что-нибудь поддерживал.

— Ты похож на беременного кенгуру, — сказала Анка.

— Молчи, — ответил Антон, сделал страшные глаза и попробовал цыкнуть зубом. Цыкнуть не получилось, потому что все зубы у него были на месте, и вышло что-то вроде «тьфу».

— Он плюётся, — сказала Анка Пашке. — Пашка, участковые плевались?

— Ещё как, — сказал Пашка. — Направо и налево.

Пашка сидел на корточках над ручьём и прятал в мох лосиную кость. Кость была настоящая, из школьного музея естественной истории, и Пашка её не украл, а взял «для следственного эксперимента», о чём оставил записку на пустой подставке. Записку Антон велел переписать: «следственный эксперимент» звучало слишком хорошо, а в книжке все говорили плохо, и это было в книжке самое главное.

Книжку Антон нашёл зимой в Историческом хранилище, в отделе, куда детей пускали только с сопровождающим. Сопровождающим был робот-библиограф, старый и рассеянный, который ещё помнил бумажный каталог и, когда читатель долго стоял у полки, начинал тихонько гудеть, как самовар. Книжка была жёлтая, с отклеившимся корешком, на обложке был нарисован толстый человек в рубахе навывпуск на фоне реки. Называлась она «Деревенский детектив». Антон взял её потому, что любил детективы, а потом не мог объяснить ни Пашке, ни Анке, ни себе, почему перечитал её четыре раза и почему, засыпая, видел не кибернетических сыщиков с Пандоры, а толстого человека, который стоит на высоком берегу, сложив руки на животе, и крутит большими пальцами то по солнцу, то против.

— Там все говорят неправильно, — объяснял он. — Не «доложите», а «докладай». Не «понимаю», а «скумекал». Не «послушай», а «а?».

— А зачем? — спросила тогда Анка.

— Не знаю. Так у них было.

Теперь Анка сидела на поваленной сосне, болтала ногами и изображала Панку Волошину. Для этого она обмотала голову маминым шарфом и всё время тёрлась щекой о собственное плечо, потому что в книжке Панка тоже так делала.

— Я буду всех выводить в бригадиры, — объявила она. — Пашка, хочешь в бригадиры?

— А кто такой бригадир?

— Не знаю. Кто-то хороший. Раз в них выводят.

— Ну выводи.

— Сначала ты должен меня полюбить.

Пашка подумал, отряхнул руки от мха и сказал, что любить он сейчас не может, он браконьер, у него лосиная кость.

— Так! — закричал Антон и выскочил из-за куста. Тигр под рубахой окончательно съехал вниз и повис у колен. — Эдак! А?!

Пашка, как и было условлено, вздрогнул и попятился. Анка, как не было условлено, засмеялась и упала с сосны.

Следствие шло долго и весело. Антон нашёл на Пашкином рюкзаке две травинки, положенные крест-накрест, — это была улика, потому что в книжке браконьер Пальцев так метил свою сумку, чтобы знать, не трогали ли её. Пашка сказал, что травинки налипли сами. Антон сказал, что сами они крест-накрест не налипают. Пашка спросил, а как тогда участковый узнал, что сумку не трогали другие. Антон сказал, что участковый знал всё, потому что он сорок лет прожил в одной деревне и помнил, у кого какая сумка. Пашка сказал, что это нечестно, это не дедукция. Антон сказал, что это лучше дедукции, и они чуть не подрались, но тут Анка сказала:

— Мальчики. Тут дорога.

Они стояли на краю ручья, а за ручьём, в густом подлеске, действительно угадывалась дорога: две параллельные проплешины, заросшие иван-чаем, а между ними горбатая полоса, на которой торчали полусгнившие брёвна, уложенные поперёк, как шпалы.

— Лежнёвка, — сказал Антон шёпотом. Он вычитал это слово в той же книжке и до сих пор не был уверен, что оно существует.

— Что?

— Дорога из брёвен. По болоту.

Они пошли по лежнёвке гуськом, сначала Антон, придерживая тигра, за ним Пашка с костью, за ними Анка в шарфе. Брёвна пружинили и пахли грибами. Вокруг было тихо, как бывает тихо только в старом лесу, куда давно не ходят, и все трое перестали играть, хотя никто не сказал об этом вслух.

Метров через триста дорога упёрлась в столб. Столб был железный, рыжий от ржавчины, и на нём криво висел жестяной щит. Краска на щите облезла, но буквы ещё читались, потому что когда-то были выпуклыми.

— «Колхоз», — прочитал Пашка. — «Путь к коммунизму». И ниже: «Въезд посторонним...» дальше не видно.

— Значит, мы пришли, — сказала Анка.

— Куда?

— Ну. К коммунизму. Путь же к нему.

Пашка засмеялся, но как-то неуверенно. Антон молчал.

За столбом, в березняке, стоял трактор. Вернее, то, что от трактора осталось: рама, два огромных задних колеса без резины и кабина, сквозь которую проросла берёза толщиной в руку. Берёза вышла через крышу и шелестела над ней, как будто трактор пустил листья.

— «Бе-ла-русь», — прочитала Анка на радиаторе. — Это что, в Белоруссии делали? Тогда почему он здесь?

— Его сюда привезли, — сказал Антон. — По этой дороге. Для колхоза.

— А что такое колхоз?

— Это когда всех заставляли работать вместе, — сказал Пашка. Он знал больше, у него старший брат учился в Институте экспериментальной истории. — Ну, то есть все и так работают вместе. Но там заставляли.

— Как в интернате? — спросила Анка.

— Хуже. Из интерната хоть на выходные отпускают.

— А почему они не уходили?

Пашка пожал плечами. Антон подошёл к трактору и потрогал колесо. Колесо было холодное и шершавое, и с него осыпалась рыжая чешуя. Антону вдруг показалось — очень ясно, как бывает только в детстве, — что сейчас из-за берёз выйдет толстый человек в распахнутой

рубaxe, посмотрит на них рачьими глазами и тихо скажет: «Ну? Чего стали?» И им, всем троим, станет очень стыдно, хотя они ничего не сделали.

Никто не вышел. Шелестела берёза в кабине. Где-то далеко, над Институтом погоды, низко прошёл грузовой глайдер.

— Пошли домой, — сказала Анка. — Мне надо шарф вернуть.

Пашка положил лосиную кость на сиденье трактора, где когда-то сидел тракторист, и они пошли назад по лежнёвке. Антон шёл последним. На краю ручья он обернулся.

— Я, когда вырасту, — сказал он, ни к кому не обращаясь, — поеду туда, где ещё есть участковые.

— Нигде их уже нет, — сказал Пашка. — Двести лет как нет.

— Значит, найду, где есть.

Анка посмотрела на него странно, как смотрят взрослые, и ничего не сказала.

Тигр так и остался в лесу. Его нашли через неделю муравьи-санитары, и он долго ещё лежал в окне бюро находок, грустный и чуть подмоченный, пока мама Антона не зашла за ним сама.

2

Кабинет руководителя сектора «Сибирь-ХХ» Кондрата Ильича Кондорова помещался на последнем этаже Института экспериментальной истории, и окно его выходило на море, которого в этих краях никогда не было и которое двадцать лет назад сделали специально, чтобы сотрудникам лучше думалось. Сам Кондоров был невысок, сух, сед и походил на старого сокола, который давно не охотится, но всё ещё помнит, как это делается. Говорили, что в молодости он двенадцать лет проработал на одном средневековом объекте, был там генеральным судьёй и хранителем больших государственных печатей, и вернулся оттуда с тремя шрамами и привычкой во время разговора класть ладонь на несуществующий эфес.

Ладонь лежала на эфесе и сейчас.

— Садитесь, Антон, — сказал Кондоров. — Садитесь и смотрите.

Он тронул пульт, и на стеклянной стене поплыла карта. Это была река, огромная, бурая, медленная, с бесчисленными протоками, островами и старицами, похожая на дерево, которое повалили набок. Справа от реки шли леса, слева — сплошная зелёная гладь, испещрённая голубыми пятнами.

— Обь, — сказал Кондоров. — Нарымский край. Левобережье — Васюганские болота, крупнейшие на планете. Правый берег — тайга, кедрачи, мелкие деревни по яру. Объект — вот.

Красная точка зажглась на изгибе реки.

— Кедровка. Колхоз имени... — он посмотрел в планшет, — «Путь к коммунизму». Население — около семисот человек. Электричество — от дизельного движка, с перебоями. Связь с районом — пароход, летом, и санный путь, зимой. Радио, клуб, восьмилетняя школа, сельпо, медпункт, кузница, маслозавод. Один участковый уполномоченный милиции.

— Участковый, — повторил Антон.

— Что вас удивляет?

— Ничего. Продолжайте, пожалуйста.

Кондоров посмотрел на него внимательно, по-соколиному, но продолжил.

— Вы знаете базисную теорию, Антон. Я не буду читать вам лекцию. Напомню только оценку сектора. Объект находится на стадии развитого колхозного феодализма с элементами электрификации. Основа общественной структуры — прикрепление производителя к земле при формальной отмене личной зависимости. Паспортов у колхозников, к слову, до недавнего времени не было вовсе. Роль феодала выполняет бюрократический аппарат, иерархически организованный: колхоз — сельсовет — район — область — центр. Идеология — вырожденная форма коммунистической, утратившая содержание, но сохранившая ритуалы. Уровень серости, — он чуть заметно поморщился, — допустимый. Насилие в последние десятилетия носит преимущественно бытовой характер.

— Я читал отчёты, — сказал Антон.

— Тем лучше. Тогда вы знаете, почему мы туда идём. Объект — один из немногих в секторе, где цепь исторической последовательности не разорвана. Мы видим там то, что когда-то было и у нас. Мы посмотрим на собственное прошлое, Антон, как в зеркало. Это редкая удача. И это налагает обязательства.

Он помолчал. Море за окном было ровное и синее, и над ним висела одинокая чайка, тоже сделанная специально.

— Ваша задача — наблюдать, фиксировать, сохранять. Вы не вмешиваетесь. Вы никого не спасаете, никого не наказываете, никого не просвещаете. Вы — глаза и уши Института. Вы будете видеть то, что вам не понравится. Вы будете видеть пьянство, воровство, глупость,

унижение, может быть, жестокость. Вы будете видеть, как хорошие люди гибнут за ничто, а плохие процветают. Вы ничего не будете делать. Вам ясно?

— Ясно.

— Это легко сказать, — тихо проговорил Кондоров и снял ладонь с эфеса. — Это очень легко сказать, Антон. Я сам когда-то говорил. Ладно. Теперь пункт семнадцатый. Вы его читали?

— «Наблюдатель вправе оказывать осторожное содействие естественным прогрессивным тенденциям, буде таковые обнаружатся, при условии, что такое содействие не нарушает исторической последовательности и не выдаёт наблюдателя», — без запинки ответил Антон.

— Наизусть, — сказал Кондоров, и было непонятно, хвалит он или осуждает. — Я этот пункт не люблю. Его вписали в устав после одной истории, о которой здесь не принято говорить. Вписали как компромисс. Чтобы у наблюдателя оставалась, как это сформулировал Учёный совет, «психологическая отдушина». Не злоупотребляйте отдушиной, Антон.

— А как я узнаю, что тенденция естественная?

— По базисной теории.

— А если базисная теория ошибается?

Кондоров посмотрел на него долго и, кажется, с сожалением.

— Базисная теория не ошибается, — сказал он. — Она уточняется. Это разные вещи.

Он погасил карту. Красная точка ещё секунду светилась на тёмном стекле, потом пропала.

— Почему именно Кедровка? — спросил Антон.

— Потому что это самый спокойный объект сектора. Тридцать с лишним лет без единого убийства. Мелкие кражи, самогоноварение, браконьерство, драки по праздникам. Скучно, Антон. Это хорошее место для первой командировки. Там даже, — Кондоров позволил себе улыбнуться, — участковый, говорят, толстый.

У Антона на секунду перехватило дыхание. Он вспомнил подушку с тигром, лежнёвку, ржавый щит, берёзу, проросшую сквозь кабину. Вспомнил, как не хотел вслух сказать Анке, что нашёл книжку не случайно, а нарочно искал её много дней, потому что во сне ему кто-то велел.

— Я готов, — сказал он.

— Никто не готов, — ответил Кондоров. — Идите в Отдел мимикрии. Вас там ждут.

3

Отдел исторической мимики располагался в подвале, и в нём пахло так, как, наверное, не пахло больше нигде на планете: нафталином, кирпичом, махоркой, хозяйственным мылом, керосином и ещё чем-то кислым и тёплым, что Антон определил для себя как «запах прошлого» и только много позже, уже в Кедровке, узнал как запах квашеной капусты.

Заведовал отделом человек по фамилии Шемахин, длинный, рыжий и весёлый, с руками в пятнах от клея. Про него рассказывали, что он однажды за ночь собрал по фотографиям кольчугу, в которой потом три года проходил наблюдатель на средневековом объекте, и что кольчуга до сих пор считается лучшей в Институте.

— Ага! — закричал Шемахин, увидев Антона. — Кедровка! Садись. Нет, не сюда, это табуретка образца пятьдесят второго года, на неё нельзя, она экспонат. Вот сюда. Это тоже табуретка, но наша. Ну-с.

Он высыпал на стол из коробки ворох бумажек.

— Документы. Паспорт гражданина. Трудовая книжка. Диплом об окончании культпросветучилища, город Кемерово, специальность — руководитель самодеятельного хорового коллектива. Направление Томского областного управления культуры на должность заведующего сельским клубом. Профсоюзный билет. Комсомольский билет — выбыл по возрасту, но билет на память оставил, так делали. Партбилета нет.

— Почему?

— Слишком сложная подделка. Там учёт, номера, сверки, взносы... Мы с этим не связываемся. Будешь беспартийный. Это там ещё допускается, для культработника особенно. Беспартийный завклубом — это даже трогательно. Дальше.

Он отодвинул бумажки и достал из-под стола футляр. Футляр был большой, чёрный, с потёртыми углами и медными застёжками.

— Главное, — сказал Шемахин нежно. — Открой.

Антон открыл. В футляре, на малиновом бархате, лежал аккордеон. Он был перламутровый, белый с розоватым отливом, с чёрными и белыми клавишами справа и рядами круглых кнопок слева, а на мехах, между складками, тускло поблёскивали металлические уголки.

— Трофейный, — сказал Шемахин. — То есть по легенде трофейный. Немецкий, довоенный. Купил с рук за триста пятьдесят рублей. Запомни цифру, это важно, там все всё знают про цены. Внутри — передатчик. Связь со станцией, двусторонняя. Канал открывается сочетанием двух регистров, вот этими клавишами сверху. Нажимаешь оба — ты на связи. Отпускаешь — ты обычный завклубом с обычным аккордеоном. Играть на нём, между прочим, тоже можно. Ты играешь?

— Нет.

— Научишься, у тебя гипнопедия. Курс «Аккордеон для начинающих», сорок восемь часов, плюс «Полонез Шопена» отдельным файлом.

— Почему Шопена?

— Потому что ты культурный человек, — серьёзно сказал Шемахин. — Ты будешь там самым культурным человеком. Тебе надо как-то это показывать. Культурный человек того времени играл Шопена. Это из методички.

Антон осторожно закрыл футляр.

— А если его украдут?

— Кто? — изумился Шемахин. — Это же деревня. Там двери не запирают. Там если что и украдут, так поросёнка. Ладно, на всякий случай: если связь пропадёт, у тебя аварийный маяк в каблучке. Но лучше не теряй. Два регистра, Антон. Без двух регистров ты там один.

Потом была одежда. Её Шемахин подбирал долго и с наслаждением, отбегая, прищуриваясь и цокая языком. Брюки, широкие, серые, с отворотами. Рубашка, белая, нейлоновая, которая не впитывала пот и от которой, как с гордостью сообщил Шемахин, «по вечерам искрило, это была модная вещь». Пиджак, тоже серый. Носки с резинками — «их было видно, когда человек садился, и это считалось хорошим тоном».

— А теперь — вершина, — сказал Шемахин и достал шляпу.

Шляпа была фетровая, коричневая, с узкими полями. А к шляпе — ботинки. Ботинки были красные.

— Они точно... носили красные? — спросил Антон.

— Безусловно. «Работница», номер восемь, пятьдесят восьмой год, раздел «Мода за рубежом». Там на фотографии культурный мужчина, вот в таких ботинках и вот в такой шляпе. Ты будешь выглядеть как человек, который следит за модой.

— За зарубежной.

— Ну так культурный человек и должен следить за зарубежной! — рассердился Шемахин. — Ты что, хочешь в кирзе ходить? В кирзе там все ходят. Тебя никто не заметит.

— Так меня и не должны замечать.

Шемахин посмотрел на него с жалостью.

— Тебя всё равно заметят, — сказал он. — Ты новый человек в деревне, где все друг друга знают с рождения. Тебя заметят в первую же минуту. Вопрос только в том, кем тебя увидят. Пусть увидят культурного.

Антон надел шляпу. В зеркале на него посмотрел незнакомый молодой человек, бледный, с чуть удивлённым лицом, похожий одновременно на учителя пения и на иностранного шпиона из старого фильма.

— Отлично, — сказал Шемахин. — Теперь язык.

Язык Антону ставили две недели. Его укладывали в гипнопедическое кресло, надевали шлем, и он засыпал под ровный голос, который читал ему передовые статьи газеты «Правда» за 1950–1965 годы, протоколы заседаний бюро Колпашевского райкома партии, стенограммы областных совещаний работников культуры и брошюры общества «Знание». Просыпался Антон с ощущением, что во рту у него пыль, а в голове — бесконечная, гладкая, как резиновый коврик, фраза, у которой нет ни начала, ни конца.

— Скажи что-нибудь, — попросил Шемахин на исходе второй недели.

— Искусство принадлежит народу, — сказал Антон, и сам удивился, как легко это вышло. — Конечно, кино является самым массовым из искусств, однако музыка призвана воспитывать человека не только эстетически, но, если можно так выразиться, и политически. Нам песня строить и жить помогает.

— Безупречно, — сказал Шемахин. — Абсолютно безупречно. Даже я поверил.

— А как они говорят в деревне? По-настоящему?

Шемахин замялся.

— Был курс, — признался он. — «Говоры Нарымского края. Лексика, фонетика, интонация». Четыреста часов. Но методическая комиссия его сняла как несущественный для задач наблюдения. Сказали, что наблюдатель должен понимать местную речь, а говорить ему на ней не обязательно, он же приезжий. Понимать ты будешь, у тебя пассивный словарь загружен.

— Понимать, — повторил Антон.

— Ну, в основном. И вот ещё что: говори медленно. Очень медленно. Тебя должны понимать, а у тебя будет акцент. Не акцент даже, а... интонация. Ты же говоришь, как мы. А мы говорим быстро и всё время радуемся. Там так не говорят. Там если человек быстро говорит и всё время радуется, то он или пьяный, или жулик. Медленно, понял?

— Понял.

— И время. Всегда называй точное время. Это дисциплинирует наблюдение. Не «вечером», а «в двадцать три пятнадцать». Отчёты тоже так пиши.

— А они так говорят?

— Нет, — сказал Шемахин. — Но это неважно. Ты культурный.

В последний день Шемахин положил перед Антоном чистый бланк паспорта.

— Фамилия, — сказал он. — Выбирай сам. Такая традиция. Имя-отчество мы тебе дали: Геннадий Николаевич, очень распространённое, никто не запомнит. А фамилию — сам.

Антон подумал совсем недолго.

— Руматов, — сказал он.

— Странная фамилия, — сказал Шемахин, но вписал. — Нерусская какая-то. Откуда?

— Из одной старой книжки. Там был такой благородный человек.

— Благородный, — с сомнением повторил Шемахин. — Ну-ну. Смотри только, чтобы не очень благородный. Там этого не любят.

4

Проводы были в лесу, на том самом месте.

Лежнёвки давно уже не было: её разобрали, брёвна увезли в музей, тропу засыпали, и теперь по ней ходили экскурсии школьников. Ржавый щит тоже увезли, а на его месте стоял аккуратный столбик с табличкой: «Здесь проходила дорога колхоза „Путь к коммунизму“. Охраняется как памятник истории». Трактор оставили — сказали, что с берёзой он ценнее, — и обнесли невысоким заборчиком. Берёза за эти годы стала толще и выше, а кабина, наоборот, будто ушла в землю и сделалась маленькой, как игрушечная.

Пашка приехал загорелый до черноты, с новым шрамом через бровь и с той особенной неторопливостью в движениях, которая бывает у людей, долго проживших там, где лишнее движение может стоить жизни. Он работал на каком-то другом объекте, про который ничего не рассказывал, но иногда во сне, говорили, ругался на непонятном языке и звал какого-то барона.

Анка работала в архиве Института и была очень красивая, и Антон с Пашкой оба это заметили и оба ничего не сказали.

Они сидели на заборчике возле трактора и пили сидр из одной бутылки.

— Ты Кондорова не слушай, — сказал Пашка. — То есть слушай, он мужик правильный. Но про базис не слушай.

— А что про базис?

— Ну, вот он тебе говорил — развитой феодализм с электрификацией?

— Говорил.

— Ерунда это, — сказал Пашка и отпил из бутылки. — Я перед командировкой три месяца сидел в архивах райкомов, по второй специальности. Нет у них там никакого феодализма. Феодал — это когда у тебя барон, и у барона замок, и барон тебя бьёт, но это твой барон. А там у них барона нет. Там всё принадлежит государству. Земля, трактора, коровы, люди. Государство само владеет, само распределяет, само себе план пишет и само его перевыполняет. Это не феодализм, Антоша. У них там государственный капитализм. Да и то деревня ему сопротивляется.

— Как это — сопротивляется?

— А вот так. Тихо. Самогонку варят. Колоски тащат. В колхоз ходят, а на огороде работают. Председателей снимают и сажают на лавочку. Лося бьют без лицензии. Живут по-своему, а райкому отчитываются как надо. Ты сам увидишь.

— Это ревизия базисной теории, — сказал Антон, но не очень уверенно.

— Это уточнение, — сказал Пашка и подмигнул. — Кондоров же тебе говорил: базисная теория не ошибается, она уточняется.

Анка молчала, смотрела на берёзу в кабине и рвала травинку на мелкие кусочки.

— А что значит «по-своему»? — спросил Антон. — Как это — по-своему?

— А я почём знаю, — сказал Пашка. — Я там не был. Ты будешь. Ты и расскажешь.

Они помолчали. Над лесом медленно, в розовом вечернем свете, шёл пассажирский дирижабль, и было слышно, как на нём играет музыка.

— Привези мне оттуда что-нибудь, — вдруг сказала Анка.

— Что?

— Не знаю. Что-нибудь настоящее.

— Лосиную кость, — сказал Антон и засмеялся.

Анка не засмеялась.

— Ты там не играй, Антоша, — сказала она. — Ладно? Ты всегда играешь. Ты в детстве с подушкой играл, а теперь ты с аккордеоном будешь играть. А там люди. Настоящие. Ты сам говорил.

— Я не буду играть. Я буду наблюдать.

— Ну да, — сказала Анка. — Ну да.

Она соскочила с заборчика, подошла к трактору и положила ладонь на ржавое колесо, как когда-то Антон. Постояла так.

— Возвращайся, — сказала она, не оборачиваясь.

5

Пароход назывался «Пролетарий».

Антон узнал его ещё издали, с пристани в Колпашеве. Он был белый, двухпалубный, с высокой красной трубой и огромными колёсами по бокам, закрытыми деревянными кожухами, на которых было написано его имя. Колёса шлёпали по воде, как ладони по столу, и от этого шлёпанья, от запаха угольного дыма, мокрых канатов и рыбы у Антона кружилась голова. Это было, пожалуй, первое, что ему по-настоящему понравилось.

Он стоял на нижней палубе, у борта, с чемоданом в одной руке и с футляром аккордеона в другой, в шляпе и красных ботинках, и на него смотрели.

Смотрели все. Смотрели бабы, сидевшие на мешках с мукой, смотрел дед с удочками, смотрел мужик в телогрейке, растянувший гармошку и забывший её сжать, смотрели ребята-тишки, которые сначала спрятались за мешки, а потом, осмелев, подползли ближе и смотрели снизу. Особенно на ботинки.

Антон вспомнил наставления Шемахина и улыбнулся медленно и культурно.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал он и чуть наклонил голову, так что поля шляпы опустились.

— Здорово, — ответил мужик с гармошкой и наконец сжал её. Гармошка издала долгий удивлённый звук.

Старуха в чёрном платке, сидевшая ближе всех, оглядела Антона с головы до ног, от шляпы до ботинок и обратно, пожевала губами и спросила:

— Ты чей будешь?

Антон растерялся. Пассивный словарь подсказал, что слово «чей» есть местоимение притяжательное, вопросительное, но не подсказал, какого ответа от него ждут. Чей? В каком смысле? Он принадлежит Институту экспериментальной истории. Но этого сказать было нельзя.

— Я... свой, — сказал он медленно.

Бабы переглянулись.

— Свой, — повторила старуха и снова пожевала губами. — Ну-ну. Свой, значит. А к кому едешь?

— В Кедровку. В клуб. Заведующим.

Это оказалось правильным ответом. Лица вокруг разгладились, мужик с гармошкой кивнул, будто что-то для себя решил, а старуха сказала соседке негромко, но так, что Антон всё слышал:

— Клубный. Из району прислали. Чудной какой.

— Они все чудные, клубные, — ответила соседка. — Прошлый-то, помнишь, Нюрка, в Тогуре который? Тоже шляпу носил. А потом спился.

— Этот не сопьётся, — сказала старуха, ещё раз оглядев Антона. — Хлипкий больно. Этот так сгинет.

Антон отошёл к корме и стал смотреть на реку.

Река была такая, что карта на стене у Кондорова оказалась ложью. Карта показывала ширину, а ширины тут не было: был простор. Вода была бурая, тяжёлая и шла на север медленно, будто не текла, а думала. Правый берег, высокий, глиняный, весь в осыпях, тянулся бесконечной жёлтой стеной, и наверху, над обрывом, стояли тёмные кедры. А левый берег был так далеко, что казался полоской, нарисованной по линейке, и за этой полоской не было ничего: только ровная зелень до самого горизонта и белёсое небо над ней. Васюганье, вспомнил Антон. Крупнейшие на планете.

Над ним, как и обещали в инструкции, висели комары. Антон незаметно провёл ладонью над запястьем, включая репеллентное поле, — стандартное институтское снаряжение, рассчитанное на любые кровососущие формы жизни. Через минуту он убедился, что нарымские комары не относятся ни к каким формам жизни, учтённым в Институте. Они пробивали поле, как будто его не было, и Антон хлопал себя по шее до самой Кедровки.

К вечеру он сел на свой чемодан, достал записную книжку и начал первый отчёт.

Он писал карандашом, на бумаге, как было положено по легенде, мелким аккуратным почерком. Позже он передаст этот текст через аккордеон, а пока писал для себя, и сам удивлялся, как гладко ложатся слова.

Перед ним шлёпали колёса, позади пели под гармошку что-то про рябину, которая хочет перебраться к дубу. Баба в платке за его спиной раскладывала на мешке хлеб, сало и огурцы, а потом, подумав, молча отрезала ломоть и протянула Антону. Он не сразу понял, что это ему, а когда понял, растерялся до того, что сказал «благодарю вас» и чуть не встал. Баба фыркнула и отвернулась. Хлеб был кислый, тяжёлый и тёплый, и Антон ел его долго, глядя на воду.

Утром, за излучиной, показалась Кедровка.

Сначала стало видно высокий яр и на нём старый осокорь с кривым, перекрученным стволом, похожий на человека, который поднял руки. Потом дома: тёмные, бревенчатые, разбросанные вдоль обрыва на километр, а может, и больше, с огородами, сараями, банями, с дымками из труб. Потом стало слышно: петухи, собаки, где-то стучит движок, где-то ржёт лошадь. Под яром, у самой воды, визжали и брызгались ребяташки. Пароход прогудел, протяжно и хрипло, и ребяташки завизжали ещё громче и побежали вдоль берега, наперегонки с «Пролетарием».

Антон встал, взял чемодан и футляр и пошёл к сходням. Сердце у него стучало, как колёса.

И тут он увидел.

На самом краю яра, рядом с осокорем, стоял человек.

Он был огромный. Не высокий — хотя и высокий тоже, — а именно огромный, как бывает огромной печь или стог. На нём были широченные парусиновые штаны и серая рубаха, распахнутая на груди, густо заросшей седым волосом. Голова его была повязана мокрым носовым платком, и на платке были завязаны четыре узелка, по углам, так что вместе они походили на маленькие рожки. Руки он сложил на животе, и большие пальцы этих рук медленно вращались один вокруг другого — сначала в одну сторону, потом в другую.

Человек не двигался. Он смотрел на пароход. Антону показалось — хотя этого никак не могло быть, слишком далеко, — что человек смотрит не на пароход, а прямо на него, на Антона: на шляпу, на красные ботинки, на перламутровый футляр. Смотрит не спеша, похозяйски, как смотрят на корову, которую привели на продажу, и уже знают про неё всё, что нужно, но ещё не решили, брать или нет.

Внизу, в воде, что-то крикнул мальчишка, и человек на яру слегка повернул к нему голову. Антону вдруг стало холодно, хотя солнце уже грело.

Он открыл записную книжку и, торопясь, пока сходни не опустили, записал под вчерашним отчётом:

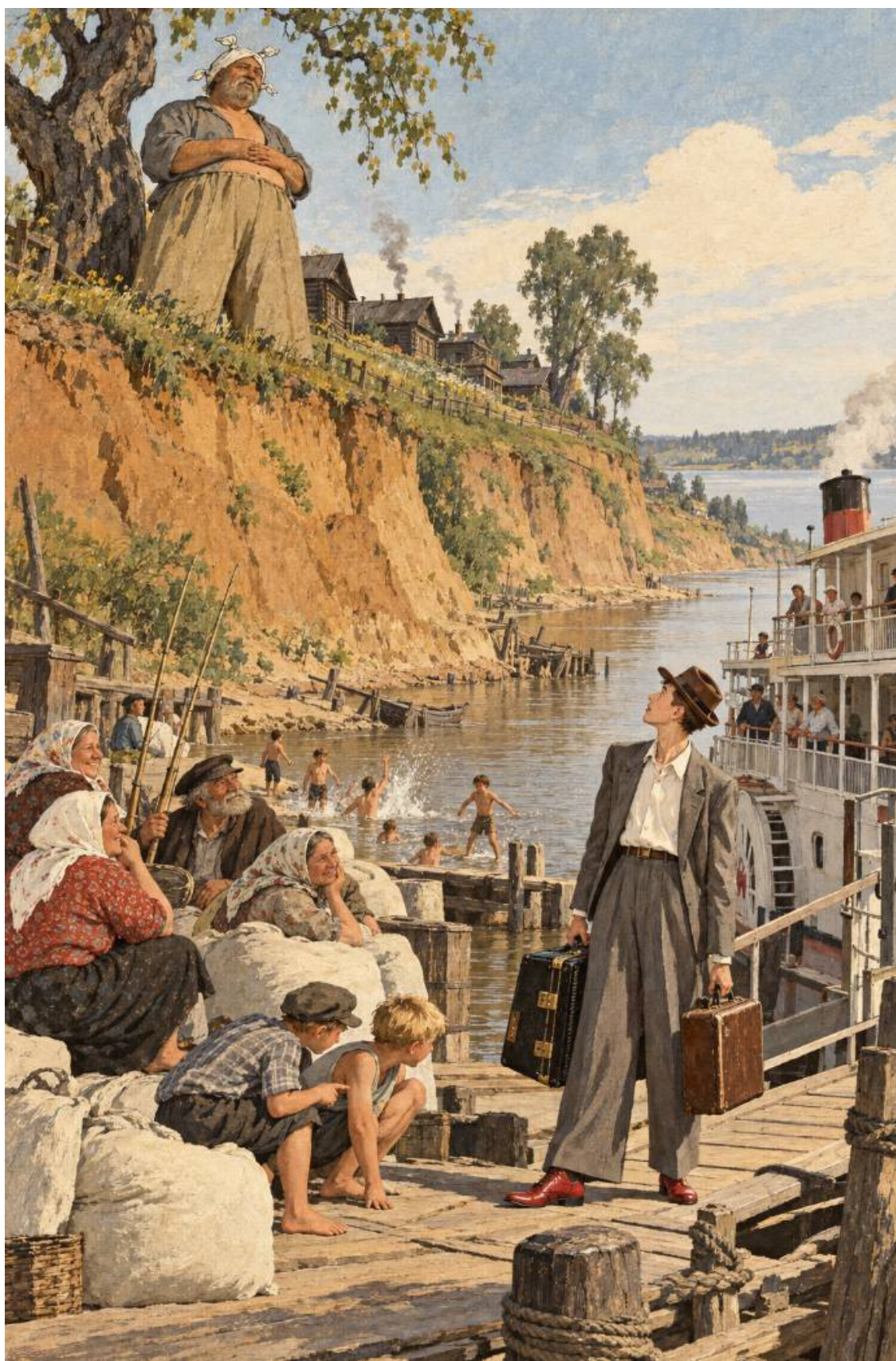
Объект «Кедровка». 7 час. 42 мин. местного времени. Прибытие.

На яру наблюдаю мужчину лет 60, крупного телосложения. Головной убор ритуального вида (платок с четырьмя узлами). Поза неподвижная, руки на животе, характерные вращательные движения пальцев.

Предположительно — местный жрец. Культовая фигура.

Опасности не представляет.

Сходни стукнули о пристань. Антон спрятал книжку в карман, поправил шляпу и шагнул на берег.



Часть первая. Лето

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Полонез Шопена

1

Первой нового клубного увидела продавщица сельпо Дуська, и это потом всем показалось правильным, хотя никто не мог объяснить почему.

Было утро, «Пролетарий» уже прогудел и ушёл вниз, к Тогуру, в сельпо стояла очередь за хлебом, а Дуська, распаренная, в белом халате поверх синей кофты, отвешивала пряники бабке Сычихе, которая всегда брала пряники ровно на двадцать копеек и всегда ругалась, что недовесили. Тут дверь отворилась, колокольчик над ней звякнул, и в сельпо вошёл человек.

Он был молодой, бледный, в серой паре и коричневой шляпе. На ногах у него были ботинки. Про ботинки потом говорили по всей деревне до самого вечера, и к вечеру они сделались уже не просто красными, а «как клюква», «как огонь», «как у пожарной машины», а дед Курдюмов, который сам их не видал, божился, что они были с колокольчиками. Колокольчиков на них не было. Но красные они были.

Человек снял шляпу, медленно наклонил голову, так что на лоб упала светлая прядь, и сказал:

— Здравствуйте, товарищи.

Очередь промолчала. Бабка Сычиха сказала: «Ну?» Дуська уронила пряник.

— Будьте любезны, — сказал человек, ещё медленнее, — подскажите, пожалуйста, где здесь помещается клуб?

— Где помещается, — повторила бабка Сычиха и обернулась к очереди, будто призывая её в свидетели. — Слыхали? Помещается.

— Клуб у нас за конторой, — тонким голосом сказала Дуська и покраснела так, как не краснела с девятого класса. — Вы прямо идите, потом налево, мимо колодца, там такой дом с крыльцом, на нём ещё флаг...

— Благодарю вас, — сказал человек, и тут случилось то, отчего Дуська потом весь день ходила как пьяная: он взял её руку, лежавшую на прилавке рядом с гирькой, и поцеловал. Да не в пальцы, как в кино целуют, а выше, у самого локтя, в сгиб, где у Дуськи от весов всегда оставалась мука.

Потом он надел шляпу и вышел. Колокольчик над дверью звякнул.

Очередь стояла молча, наверное, целую минуту. Потом бабка Сычиха сказала:

— Довесь пряников-то.

Дуська довесила, не глядя, и перевесила граммов на сорок, и Сычиха, впервые за двадцать лет, ничего ей не сказала.

К полудню о новом клубном знала вся Кедровка. Знали, что он приехал на «Пролетарии», что чемодан у него лёгкий, а футляр тяжёлый, что в футляре, по всей видимости, гармонь, но не простая, а «немецкая, перламутровая, с кнопками», что по дороге от пристани он два раза останавливался и что-то записывал в книжечку, что у колодца он поздоровался с колодцем — то есть он, конечно, поздоровался с Валькой Изотовой, которая там набирала воду, но Валька в это время нагнулась, и он, стало быть, поздоровался с колодцем, — и что Дуське он поцеловал руку у локтя.

Последнее обсуждали дольше всего.

— У локтя — это по-каковски? — спрашивала на огороде Анна Кузьминична у соседки Марфы. — Это что значит-то, у локтя?

- Городской, — отвечала Марфа. — У них так.
- У городских, Марфа, у пальцев. Я в кино видала.
- Ну, значит, ещё городское.
- Как это — городское? Городское города, что ли?

На этом соседки зашли в тупик и разошлись, но к вечеру выяснилось, что Марфа была права. Объяснил всё Витька-киномеханик, который ездил на курсы в Колпашево и считал себя человеком бывалым. «Это, бабы, — сказал Витька, — заграничный манер. Это у них у панов так было. У польских. Целовали до самого локтя, а кто выше целовал, того на дуэль». Бабы заахали, и с той поры нового клубного в деревне звали между собой «паном», а когда узнали фамилию, то и вовсе «паном Руматовым».

Фамилию узнали у конторы.

У конторы, на лавочке, по обыкновению сидели два бывших председателя. В Кедровке был колхоз давно, председателей в нём сменилось много, и почти все они после снятия оставались жить здесь же, в деревне, потому что ехать им было некуда. Большинство уходило в бригады, в кладовщики, на ферму. А эти двое ни в бригады, ни на ферму не пошли, а сели на лавочку возле конторы, откуда их и сняли, и сидели на ней с тех пор, кто восемь лет, кто одиннадцать, в зависимости от погоды. Председатель колхоза нынешний, проходя мимо, всегда с ними здоровался. Они отвечали ему с таким выражением, что нынешний председатель весь день потом чувствовал себя временным.

Мимо них новый клубный и прошёл. Снял шляпу, сказал «здравствуйте, товарищи», сказал, что он Руматов Геннадий Николаевич, назначен облуправлением культуры заведующим сельским клубом, и спросил, у кого можно получить ключи.

Бывшие председатели долго молчали. Потом первый бывший председатель сказал:

- Ключи у Фроськи.
- У Евфросины Бурлаковой, — поправил второй бывший председатель. — У сторожихи.
- А где она живёт?
- Она в клубе живёт, — сказал первый.
- Она у себя живёт, — сказал второй. — На Заречной. А в клубе она бывает.
- Бывает, — согласился первый.

Руматов поблагодарил, надел шляпу и пошёл. Бывшие председатели смотрели ему вслед, пока он не завернул за колодец.

- Ревизор, — сказал первый.
- Какой ревизор? Клубный.
- Это он говорит, что клубный. А ты погляди, как ходит. Глазами так и шарит. Так и шарит. Я этих ревизоров повидал, у меня их на веку было, может, сорок. Все так ходят.
- Ну, может, и шпион, — подумав, сказал второй.
- Какой шпион? Чего ему у нас шпионить? Маслозавод?
- Маслозавод, — сказал второй и задумался ещё глубже. — А может, и он.

2

Участковый уполномоченный Анискин в этот день обедал позже обычного, потому что с утра ездил на Чёрную речку смотреть, кто там без разрешения рубит тальник, и вернулся только к трём часам, мокрый по пояс, весёлый и голодный.

Жена его, Глафира, подала на стол щи, хлеб, сало, огурцы, отварную картошку с укропом и молча села напротив. Она всегда садилась напротив, когда он ел, и всегда молчала, пока он не съест первую тарелку, потому что за тридцать лет знала: до первой тарелки разговаривать с ним бесполезно.

Анискин съел первую тарелку, крикнул, вытер усы и откинулся на лавке. Лавка охнула.

— Ну? — сказала Глафира.

— Чего — ну?

— Клубный, говорю, новый.

— А, — сказал Анискин и взял огурец. — Знаю.

Глафира обиделась.

— Знаешь, — сказала она. — Ты на Чёрной речке был. Ты чего можешь знать?

— А я, Глаша, всё знаю, — ответил Анискин миролюбиво. — Мне сорока на хвосте приносит.

И он, жуя огурец, неторопливо, будто сказку рассказывал, перечислил Глафире то, что знал. Что клубный сошёл с «Пролетария» в семь сорок, потому что пароход нынче шёл с опозданием на двадцать минут из-за мели под Тогуром. Что фамилия ему Руматов. Что в чемодане у него от силы три рубахи да пара белья, потому что нёс он его легко, одним пальцем, а футляр — двумя руками. Что первым делом он зашёл в сельпо, но ничего не купил. Что Дуське он целовал руку у локтя, и Дуська после этого два раза выбегала на крыльцо поглядеть, куда он пошёл, хотя у неё была очередь. Что у колодца он здоровался не то с Валькой, не то с колодцем. Что бывшие председатели решили промеж себя, будто он ревизор, но потом один перерешил на шпиона. Что ключи от клуба у Фроськи Бурлаковой, а Фроськи, как на грех, с утра не было дома, она ушла по ягоду на Ерёмин бор, и клубный два часа сидел на крыльце клуба на своём чемодане и ждал. И что пока сидел, он, по всей видимости, сильно стеснялся, потому что ни разу не закурил, а Витька-киномеханик, проходя мимо, ему кивнул, а он Витьке встал и поклонился.

— Встал? — ахнула Глафира.

— Встал, — подтвердил Анискин. — Встал, да шляпу снял, да поклонился. Витька аж споткнулся.

Глафира подумала.

— Ты откуда это всё знаешь?

— Ниоткуда, — сказал Анискин. — Я, Глаша, сорок лет в деревне живу. Я, Глаша, знаю, кто когда чихнёт.

Он поднялся из-за стола, огромный, весь в сале и огуречном рассоле, отряхнул крошки с живота, взял с подоконника носовой платок, намочил его в ведре, завязал по углам четыре узелка и надел на голову.

— Ты куда?

— Зайти надо, — сказал Анискин. — По-соседски. Человек новый, в деревне никого не знает, ему, может, скучно.

— Ты бы хоть рубаху передел.

— А зачем? — удивился Анискин. — Я же не в район.

3

При клубе была комнатка — бывшая кладовая, а потом, когда клубу полагался штатный заведующий, оборудованная под жильё: узкая железная кровать, стол, два стула, этажерка, рукомойник, печка-голландка и на стене портрет композитора Чайковского, оставленный, как говорили, ещё самым первым клубным, который спился в шестьдесят втором году.

Сюда Анискин и вошёл, постучав для приличия костяшкой пальца в косяк, когда уже стоял посреди комнаты.

Руматов сидел за столом над раскрытой записной книжкой. При виде Анискина он вскочил так стремительно, что опрокинул стул, и замер, по-военному прижав руки к бокам. Анискину на секунду показалось даже, что клубный сейчас щёлкнет каблуками. Тот и щёлкнул.

— Здравствуйте, — сказал Руматов. — Прошу вас. Позвольте предложить вам стул.

Он поднял опрокинутый стул и поставил его перед Анискиным.

Анискин посмотрел на стул, на Руматова, опять на стул. Стул был венский, гнутый, на тонких ножках, из тех, на каких в Кедровке никто, кроме учительницы Малыгиной, не сидел. Анискин подумал и сел на кровать. Кровать застонала.

— Ну, здорово, — сказал он. — Здорово, товарищ.

— Здравствуйте, — ещё раз сказал Руматов и тоже сел, на самый краешек стула.

Помолчали.

Анискин неторопливо оглядел комнату. Оглядел чемодан под кроватью, раскрытый и почти пустой. Оглядел этажерку, на которой стояли «Справочник культпросветработника», брошюра «Как организовать хоровой кружок» и ещё одна, без обложки. Оглядел записную книжку на столе, которую Руматов, будто случайно, прикрыл ладонью. Оглядел рукомойник, под которым ещё не было ведра, и печку, которую ещё никто не топил. Потом посмотрел на Руматова. Смотрел он долго, и Руматов, сидя на краешке стула, сначала выпрямился, потом ссутулился, потом снова выпрямился.

— Документы-то есть? — спросил наконец Анискин.

— Конечно, — сказал Руматов и с явным облегчением полез во внутренний карман.

Документы Анискин смотрел не торопясь и с видимым удовольствием, как другие смотрят картинки. Паспорт он полистал, хмыкнул на прописку, посмотрел фотографию, потом на Руматова, потом опять на фотографию. Трудовую книжку прочитал всю, шевеля губами. Диплом культпросветучилища подержал против света. Направление облуправления прочитал дважды, второй раз — подписи.

— Кемеровский, значит, — сказал он.

— Кемеровское культурно-просветительное училище, — поправил Руматов. — Специальность — руководитель самодеятельного хорového коллектива.

— Ну да, ну да. А родом откуда?

Руматов помедлил ровно на долю секунды.

— Из... Кемерова.

— Кемеровский, — согласился Анискин. — А родители?

— Родители умерли.

— Оба?

— Оба.

— Ну, царство небесное, — сказал Анискин и вздохнул так искренне, что Руматову сделалось неловко. — А сам-то ты чей будешь?

Руматов замер. Второй раз за два дня его спрашивали об этом, и во второй раз он не знал, что ответить. Пассивный словарь услужливо подсказывал: «Чей — местоимение притяжательное», — и больше ничего не подсказывал.

— Я, — сказал он, — свой.

Анискин помолчал. Потом медленно покачал головой — платок с узелками качнулся, как от ветра.

— Свои у нас все наперечёт, — сказал он мягко. — Свои у нас, товарищ Руматов, по фамилиям. Изотовы, Колотовкины, Пальцевы, Сторожевые, Бурлаковы... Я своих всех знаю. Ты пока не свой. Ты пока приезжий.

— Я понимаю, — сказал Руматов.

— Ну вот и хорошо, что понимаешь.

Тут взгляд Анискина упал на футляр, стоявший в углу, у печки. Он встал — кровать с облегчением скрипнула, — подошёл, наклонился, отщёлкнул медную застёжку и приподнял крышку. На малиновом бархате тускло блеснул перламутр.

— Ишь ты, — сказал Анискин. — Ишь ты какая. Немецкая?

— Немецкая. Довоенная.

— Трофейная, значит. И сколько же ты за неё, товарищ Руматов, отдал? Рублей, поди, триста пятьдесят?

Руматов почувствовал, как у него холодеет спина. Именно эту цифру называл Шемахин в подвале Отдела мимикрии, на расстоянии двухсот лет и не знаю скольких парсеков отсюда.

— Да, — сказал он хрипло. — Триста пятьдесят. С рук.

— Хорошая вещь, — сказал Анискин и закрыл футляр так бережно, будто в нём спал ребёнок. — Вровень с коровой. Ты её береги. У нас тут народ, конечно, честный, но гармонь — она гармонь. Её всякий любит.

Он постоял ещё, огляделся напоследок, будто запоминая, и пошёл к двери. Уже на пороге обернулся.

— Да, — сказал он. — Я и забыл. Анискин я. Фёдор Иванович. Участковый.

Дверь за ним закрылась.

Руматов сидел на венском стуле и смотрел на дверь. Потом медленно, очень медленно открыл записную книжку и перечитал последнюю запись, сделанную на пароходе.

Предположительно — местный жрец. Культовая фигура. Опасности не представляет.
Анискин Фёдор Иванович.

У него перед глазами встала жёлтая книжка с отклеившимся корешком, и толстый человек на обложке, и робот-библиограф, гудящий, как самовар, и подушка с тигром, и Пашкин голос: «Нигде их уже нет. Двести лет как нет».

«Совпадение, — сказал себе Руматов. — Фамилия распространённая. Типаж распространённый. Писатель мог видеть сотню таких. Это совпадение».

Он посидел ещё. В открытое окно было слышно, как за конторой, на лавочке, кто-то разговаривает, как мычит корова, как с реки доносится тонкий ребячий визг. Пахло черёмухой, навозом и рекой.

«Совпадение», — повторил он и вдруг понял, что ему страшно. Не так, как было страшно в детстве, в лесу, у ржавого трактора, а по-взрослому. Его только что взвесили. Положили на безмен, как мешок, посмотрели, сколько потянул, и ушли, ничего не сказав.

4

Евфросинья Бурлакова вернулась с Ерёмина бора к вечеру, с полным пестерем черники, и ключи отдала сразу, без разговоров, только поглядела на нового клубного сверху вниз, хотя росту была небольшого.

Про Фросю Бурлакову в Кедровке знали всё и не знали ничего. Знали, что родилась она здесь, на Заречной, что девчонкой пела так, что на другом берегу было слышно, и что в двадцать девятом году, шестнадцати лет, она уехала в Москву учиться на певицу. Уехала с одним сундучком, в котором была ватная кацавейка и банка мёду. Про то, что было потом, рассказывали по-разному. Одни говорили, что пела она в Большом театре, другие — что в оперетте, третьи — что на радио, а четвёртые — что пела она вообще не в Москве, а по ресторанам в Одессе, и что Москва — это она так, для форсу. Сама Фрося на расспросы отвечала коротко: «Пела». И сразу говорила о другом.

Вернулась она четыре года назад, тоже с одним сундучком, уже седая, в каракулевой шубке, которая была ей велика, и с запахом таких духов, что бабы потом месяц ходили мимо её избы, принюхиваясь. Поселилась в материнской избе на Заречной, где после смерти матери никто не жил. Сначала думали, что заскучает и уедет. Не уехала. Устроилась при клубе сторожихой и уборщицей, мыла полы, топила печку и при первом клубном, и при втором, и при третьем, который приехал из Томска на полгода, сочинил пьесу про кукурузу и уехал обратно, так и не поставив никакого спектакля. А когда клуб стоял без заведующего — а стоял он без заведующего больше, чем с ним, — Фрося по субботам сама устраивала танцы.

Танцы у неё были такие, каких Кедровка не знала ни до, ни после. Фрося заводила радиолу и ставила пластинки, и пластинки эти были не те, что продавались в сельпо и в райцентре, а другие: она выписывала их из Томска, из Новосибирска, а иные, говорили, ей присылали из самой Москвы. Танго, фокстроты, вальсы-бостоны, которых в Кедровке отродясь не слыхивали. Тридцатые годы, сороковые, довоенное, заграничное. Молодёжь сперва не понимала, потом понимала, а потом стала ходить на Фросины танцы, как на праздник. Брала Фрося по гривеннику с носа. Гривенники шли на керосин для ламп, когда отключали движок, на иголки для радиолы и на новые пластинки. Никакой отчётности Фрося не вела, никаких бумаг в район не писала, а клуб при ней был всегда чистый, натопленный и полный.

— Вы, стало быть, новый заведующий, — сказала Фрося, отдав ключи.

— Да. Руматов. Геннадий Николаевич.

— Бурлакова, — сказала Фрося и протянула руку. Руматов наклонился и поцеловал её — у самого локтя.

Фрося руки не отдернула. Только посмотрела на склонённую светлую макушку с каким-то странным выражением: не то насмешливым, не то жалостливым.

— Ну-ну, — сказала она. — Вот, значит, как теперь целуют.

— Простите?

— Ничего, голубчик. Ничего. Устраивайтесь.

5

Первую субботу Руматов готовил целую неделю.

Он вымыл в клубе полы, хотя Фрося вымыла их ещё в среду, и Фрося это видела и ничего не сказала. Он повесил над сценой написанный собственной рукой лозунг: «ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ», и полдеревни ходило на этот лозунг смотреть, потому что такого в Кедровке ещё никто не вешал, а были всё больше лозунги про надои и про посевную. Он составил план культурно-массовой работы на квартал, в шести пунктах, и отнёс копию председателю, и председатель долго держал её в руках, не зная, куда деть, а потом положил в стол. И он принял решение, которое записал в книжечку отдельно, с подчёркиванием и с пометкой «п. 17».

Решение было такое. Танцы под радиолу с фокстротами прекратить. Фокстрот есть упадочный западный танец, распространяющий в молодёжной среде чуждые вкусы — так было сказано в двух передовицах и одном протоколе, которые Руматов помнил дословно. Вместо танцев ввести культурную программу: доклад, выступление солиста, хоровое пение, а уже потом, в заключение, бальные танцы под аккордеон. Вальс, полька, па-де-грас.

— Па-де... чего? — спросила Фрося, когда он изложил ей решение.

— Па-де-грас. Бальный танец.

— Голубчик, — сказала Фрося, — у нас тут па-де-грас никто не танцует.

— Научатся, — сказал Руматов с убеждённостью, которую ему дали гипнопедия и пункт семнадцатый. — Мы обязаны поднимать культурный уровень. Это естественная прогрессивная тенденция.

— Какая тенденция?

— Естественная.

Фрося посмотрела на него долго.

— А пластинки мои куда? — спросила она.

— Пластинки будут храниться в клубе. Под замком. В шкафу у заведующего.

— Это почему же — под замком?

— Потому что фокстрот, Евфросинья... простите, отчества не знаю...

— Петровна.

— Потому что фокстрот, Евфросинья Петровна, является упадочным западным танцем. Об этом неоднократно писалось. В нём проявляется...

— Голубчик, — перебила его Фрося очень тихо. — Я фокстрот танцевала в «Метрополе» в тридцать шестом году. Там его все танцевали. Наркомы танцевали. С жёнами. Под оркестр Цфасмана, если вам, конечно, это имя что-нибудь говорит. И никто нам не писал, что он упадочный.

Руматов растерялся. Имя Цфасмана ему ничего не говорило. В передовицах о Цфасмане не было ни слова.

— Это было в тридцать шестом, — сказал он не очень уверенно. — А с тех пор...

— А с тех пор, голубчик, — сказала Фрося, всё так же тихо, — за фокстрот никого не сажали. Сажали за другое.

Она повернулась и пошла домывать крыльцо. Руматов остался стоять посреди зала под своим лозунгом и долго не мог понять, что же такое ему сейчас сказали. Потом записал в книжечку: «Е. П. Бурлакова — носитель устойчивых эстетических предпочтений периода 1930-х гг. Возможна ностальгическая реакция. Наблюдать».

В субботу клуб был полон. Пришли посмотреть на клубного.

Руматов вышел на сцену в серой паре и красных ботинках, встал под лозунгом, медленно наклонил голову, так что на лоб упала прядь, и начал доклад. Доклад назывался «Роль песни

в коммунистическом воспитании трудящихся», длился сорок минут и был безупречен: в нём не было ни одного слова, которого не было бы в газете «Правда» за 1950–1965 годы. Зал слушал молча. Бабы в задних рядах лузгали семечки. Дед Курдюмов уснул. Витька-киномеханик смотрел на ботинки.

Потом Руматов взял аккордеон.

— А сейчас, товарищи, — сказал он медленно, с чувством, — прозвучит «Полонез Шопена».

И заиграл.

Играл он хорошо — это признали потом все, даже Гришка Сторожевой. Перламутровый аккордеон вздыхал, мехи распахивались и складывались, как крылья, и музыка была печальная, медленная и такая красивая, что Дуська, сидевшая в первом ряду, плакала, не вытирая слёз, а бабы в задних рядах перестали лузгать.

Когда Руматов кончил, в зале было тихо. Потом кто-то захлопал, за ним остальные. Руматов встал, щёлкнул каблуками и поклонился.

И тут из угла, от дверей, где стояла Фрося Бурлакова, донеслось негромко, но так, что слышали все:

— Это не Шопен, голубчик.

Руматов выпрямился.

— Простите?

— Это не Шопен, — повторила Фрося. — Это Огинский. «Прощание с родиной». Полонез Огинского. Его все путают. Красиво играли, но это Огинский.

В зале кто-то хихикнул. Руматов стоял на сцене бледный, с аккордеоном в руках, и лихо-радочно перебирал в памяти. Файл. Отдельный файл к гипнопедическому курсу. Шемахин сказал: «Плюс „Полонез Шопена“ отдельным файлом». И он запомнил: «Полонез Шопена». Он ни разу не проверил.

— Благодарю вас за уточнение, Евфросинья Петровна, — сказал он наконец, медленно и культурно, и это получилось у него так достойно, что зал опять захлопал.

Хор не получился: из пятнадцати записавшихся пришли четверо, да и те, услышав, что петь надо «Широка страна моя родная» на три голоса, переглянулись и тихонько ушли. Падё-грас под аккордеон танцевали две пары. Одной из них был сам Руматов с Дуськой. Другой — учительница Малыгина с физкультурником Людвигом Ивановичем, который ещё в Томске ходил в кружок балльных танцев и с тех пор ждал случая. Остальные стояли у стен.

Около одиннадцати молодёжь начала расходиться. У крыльца, в темноте, гоготали парни. Громче всех гоготал Гришка Сторожевой — тракторист, самый здоровый парень в Кедровке, которого боялась вся деревня, кроме Анискина, и который до нынешнего вечера считался, без всяких на то оснований, Дуськиным женихом.

— Эй, пан! — крикнул Гришка, когда Руматов вышел на крыльцо проводить Дуську. — Пан Руматов! А в субботу-то танцы будут или опять Шопен?

— Огинский! — поправил кто-то из темноты, и все заржали.

Руматов остановился на крыльце. Он не видел Гришку, только слышал. И вдруг почувствовал то, чего не чувствовал ещё ни разу в жизни, — не страх даже, а какую-то тошную пустоту под ложечкой. Он знал, что может уложить Гришку и пятерых его дружков за полминуты: этому его учили в Институте два года, на всякий случай. Но знал и то, что делать этого нельзя, никогда, ни при каких обстоятельствах, потому что это было бы вмешательство, раскрытие и конец всему. А тот, в темноте, ничего этого не знал. Он просто был здоровый и гоготал. И Руматов понял, что боится его — не кулаков, а этого гогота, — и что будет бояться всегда.

— Танцы будут в субботу, — сказал Руматов медленно. — Балльные.

Темнота заржала опять. Дуська взяла Руматова под руку и сказала тихо, с ненавистью, которой он в ней не подозревал:

— Не слушайте вы его. Дурак он.

Дуську Руматов проводил до калитки, и у калитки снова поцеловал ей руку у локтя, и Дуська стояла у калитки потом ещё полчаса, хотя он давно ушёл.

Клуб он запер сам. Перед уходом открыл шкаф, где лежали Фросины пластинки, пересчитал их — сорок одна — и запер шкаф отдельным ключом. В записной книжке отметил: «Клуб заперт в 23 час. 15 мин. Пластинки — 41 шт. — в шкафу заведующего. Ключ от шкафа при мне».

6

В воскресенье, в половине девятого утра, Руматов стоял в избе участкового уполномоченного с заявлением в руках.

Заявление было написано в двух экземплярах, ровным почерком, на листе из тетради в клеточку, и в нём было сказано, что в ночь с субботы на воскресенье из запертого шкафа заведующего клубом деревни Кедровка были похищены сорок одна грампластинка, являющиеся собственностью клуба, что замок шкафа не повреждён, что замок клуба также не повреждён и что заявитель просит принять меры к розыску похищенного, а также поставить в известность Колпашевский районный отдел милиции.

Анискин читал заявление долго. Он сидел за столом в нижней рубахе, без платка, и пил чай из блюдца, держа блюдце на растопыренных пальцах, как держат его, наверное, только в Нарыме.

— В район-то пошто? — спросил он наконец.

— Простите?

— В район, говорю, пошто? Ставить-то в известность?

— Как же, — растерялся Руматов. — Кража... Хищение собственности...

— Хищение, — повторил Анискин и подул в блюдце. — Ишь ты. Хищение. А ты в район напишешь, а из району приедет младший лейтенант Пилипенко на мотоцикле, бензину сожжёт на двенадцать рублей, по деревне походит, у всех спросит, ничего не найдёт и уедет. А потом в район бумага пойдёт, что в Кедровке, стало быть, хищение и не раскрыто. А потом мне из району бумага придёт, что почему у тебя, Анискин, хищения не раскрываются. А потом председателю бумага придёт, что почему у тебя в колхозе клуб без надзора. А потом тебе, товарищ Руматов, бумага придёт...

Он отпил из блюдца.

— Не надо в район, — сказал он. — Мы тут сами.

Руматов хотел что-то сказать про порядок, про отчётность, про то, что так положено, — но вспомнил, что положено это по протоколам райкомов, а в базисной теории ничего такого не сказано, и промолчал.

— Сядь, — сказал Анискин. — Чаю хочешь?

Руматов сел и выпил чаю. Чай был с брусничным листом, горячий до того, что обжигал губы, и Руматов пил его так, как пили все в Кедровке, — из блюдца, держа на пальцах. Получалось у него плохо. Глафира, стоя у печки, смотрела на это с жалостью.

Анискин между тем молчал, пил свой чай и, казалось, совсем не думал ни о каких пластинках. Потом спросил вдруг:

— Ключ от шкафа где?

— При мне. — Руматов показал. Ключ висел у него на шнурке на шее.

— Спал ты с ним?

— Да.

— Ну, тогда не ты, — сказал Анискин серьёзно, и Руматов так и не понял, шутит он или нет. — А от клуба ключей сколько?

— Два. Один у меня, второй... — Руматов запнулся. — Второй у Евфросиньи Петровны.

— У Фроськи, — подтвердил Анискин. — А шкаф-то какой? Тот, что у стены, коричневый, с завитушками?

— Да.

— Так у него, товарищ Руматов, замок ещё при первом клубном испорченный. Его гвоздём открыть можно. Да что гвоздём — ногтем. Я этот шкаф двенадцать лет знаю.

Он допил чай, вытер усы, поднялся, намочил в ведре платок, завязал узелки.

— Ладно, — сказал он. — Ты иди, товарищ Руматов. Иди к себе. Отдыхай. Ты вчера, Глаша говорит, хорошо играл. Красиво. Хоть и не Шопена.

Руматов покраснел.

— Иди, иди, — сказал Анискин. — А я по деревне пройдуся.

7

По деревне Анискин ходил до полудня.

Если бы кто-нибудь из Института экспериментальной истории, вооружившись базисной теорией, наблюдал за ним в эти часы, он не понял бы ничего, и в отчёте его было бы написано, что участковый уполномоченный Ф. И. Анискин весь воскресный день празднично прогуливался по деревне, беседуя с населением на бытовые темы и ни разу не затронув обстоятельств дела.

Это было правдой. Анискин зашёл к Изотовым, где у Вальки нынче родился телёнок, и долго телёнка разглядывал и сказал, что вышел в мать. Он постоял у селы, где Дуська, с красными заплаканными глазами, открывала ставни, и спросил у неё, почём нынче пряники, а про пряники Дуська ответила, а потом ещё полчаса, не переставая, говорила, что Гришка Сторожевой — дурак, хам и бандит, а пан Руматов — культурный, и что она с Гришкой больше слова не скажет, и что вчера она до самой ночи стояла у калитки. Анискин её не перебивал. Он посидел на лавочке у конторы с бывшими председателями и долго обсуждал с ними, будет ли нынче дождь, и бывшие председатели разошлись во мнениях, и первый сказал, что будет, а второй сказал, что нет, а потом второй вспомнил, что вчера ночью, часу в двенадцатом, шёл с рыбалки мимо клуба, и в клубе, между прочим, горел свет. Анискин сказал: «Ишь ты» — и опять заговорил про дождь.

Он заглянул к Сторожевым. Гришки дома не было — мать сказала, ушёл с ночи на покос, на дальние луга за протокой, с братом и с дядей Мироном, и вернётся только к среде. Анискин сказал, что так и знал, потому что видел вчера, как Гришка на крыльце клуба гоготал, а потом пошёл не домой, а к протоке, где у него привязана лодка. И что лодку эту сегодня утром у протоки Анискин не видел.

Потом он пошёл к клубу.

Клуб стоял пустой и чистый, с вымытыми полами и с лозунгом над сценой. Анискин поднялся на крыльцо, отпер дверь своим ключом — у него, как выяснилось, был и свой, о чём Руматову никто не сказал, — вошёл, постоял посреди зала. Потом подошёл к коричневому шкафу с завитушками и, не открывая его, наклонился и понюхал.

Пахло. Пахло не сильно, но явственно. Пахло сладким, тяжёлым, нездешним, таким, чем в Кедровке пахло только от одного человека.

«Красная Москва», — сказал Анискин вслух.

Он постоял ещё. Потом открыл шкаф — ногтем, как и обещал, — убедился, что тот пустой, и закрыл. Потом сел на скамейку в первом ряду, туда, где вчера сидела Дуська, сложил руки на животе и стал крутить большими пальцами — сначала по солнцу, потом против.

Так он сидел минут двадцать. А потом встал и пошёл на Заречную.

8

Фрося Бурлакова сидела у себя в избе, у открытого окна, и перебирала чернику. Пестерь стоял у её ног, в миске на столе лежали отборные ягоды, крупные, сизые, а на полу, на газете, — мусор: листики, веточки, зелёные недоспелки. На стене над её головой висела афиша, жёлтая, с обтрёпанными краями, под стеклом. На афише было написано: «Московский театр оперетты. Сезон 1938–1939. Е. Бурлакова».

Анискин вошёл без стука и сел на лавку у двери.

Фрося не обернулась.

— Здравствуй, Фёдор, — сказала она.

— Здорово, Фрося.

— Чернички хочешь?

— Хочу.

Она протянула ему миску, и он взял горсть, отправил в рот, пожевал.

— Хорошая, — сказал он. — Ерёмин бор?

— Ерёмин.

Помолчали. За окном, на огороде, кудахтала курица. С реки пахло тиной.

— Пластинки-то где? — спросил Анискин.

— Под кроватью, — сказала Фрося, не оборачиваясь. — Газеткой переложены. Чтоб не поцарапались.

Анискин кивнул, будто именно так и думал.

— Ты зачем же это, Фрося?

Тут Фрося обернулась. Лицо у неё было спокойное и немного усталое.

— А затем, Фёдор, — сказала она, — что это мои пластинки. Я их на свои деньги покупала. На свои да на гривенники, которые мне ребята за вход давали. Четыре года покупала. Иные из Москвы везла, в сундучке, вот этими руками. Это не клубные пластинки, Фёдор, это мои. А он их в шкаф под замок положил. Потому что упадочные.

— Он заведующий, — сказал Анискин. — Ему положено.

— Положено, — сказала Фрося. — Я, Фёдор, тридцать лет в Москве прожила. Я там всякого навидалась. Я видела, как заведующие приходят. Приходят такие, в шляпах, культурные, говорят хорошо, целуют ручки. А потом начинают «поднимать уровень». Сначала одно запретят, потом другое. Потом пластинки в шкаф, потом пьесу про кукурузу. А потом нету ничего, Фёдор. Ни пластинок, ни танцев, ни людей. Стоит клуб, висит на нём лозунг, а внутри пусто. Я этого насмотрелась. Я от этого из Москвы и уехала. А теперь, значит, и сюда приехало.

Она помолчала.

— Я ведь ему ничего плохого не хотела. Он мальчик хороший. Глупый только. Огинского от Шопена не отличает, а туда же — уровень поднимать.

Анискин кивнул опять. Взял ещё горсть черники.

— Свет-то в клубе зачем жгла? — спросил он. — Иван Гаврилыч видал.

— Пластинки искала. Он их в шкаф составил не по порядку. Я их по порядку держу, по годам. Пока разобрала, пока газеткой переложила...

— А как открыла?

— Ногтем, — сказала Фрося. — Его, Фёдор, все ногтем открывают. Его при первом клубном ещё Витька-киномеханик сломал, когда спирт прятал.

— Ишь ты, — сказал Анискин. — Про спирт не знал.

Это было неправдой: про спирт он знал. Но Фрося улыбнулась, и Анискин улыбнулся тоже.

9

Вечером в клубе собрались трое: Анискин, Руматов и Фрося Бурлакова.

Фрося принесла пластинки в старой хозяйственной сумке, все сорок одну, переложенные газетой «Красное знамя», и поставила сумку на стол перед Руматовым. Руматов смотрел на сумку, на Фросю, на Анискина и ничего не понимал.

— Нашлись, — сказал Анискин. — Ты, товарищ Руматов, садись. Садись и слушай.

Руматов сел.

— Вот какое дело, — сказал Анискин. — Пластинки эти, товарищ Руматов, не клубные. Это Фроськины пластинки. Она их на свои деньги покупала, четыре года. Так что хищения тут нет, а есть, наоборот, получение назад собственности. Ты её, выходит, пластинки взял, а она свои обратно забрала.

— Но я не знал... — начал Руматов.

— Ты не знал, — согласился Анискин. — Тебя никто и не винит. Человек новый. Теперь слушай дальше. Танцы по субботам у нас Фрося держит. Четыре года держит. Ни райкому, ни облкультуре это ничего не стоило, ни копейки. Клуб чистый, натоплено, молодёжь не по огородам шляется, а в клубе. Это, товарищ Руматов, хорошее дело. Его ломать не надо.

— Но культурная программа...

— А культурная программа пусть тоже будет, — сказал Анискин миролюбиво. — Отчего ж не быть. Только не в субботу. В субботу танцы — Фроськины, с пластинками. А ты, к примеру, бери среду. В среду у нас ни кино, ни танцев, народ скучает. В среду ты и доклад читай, и на гармони играй, и хор пой. Кто захочет — придёт.

Руматов посмотрел на Фросю. Фрося смотрела в окно.

— Евфросинья Петровна, — сказал он медленно. — Я хочу перед вами... извиниться. Я был неправ. Я не учёл...

— Ничего, голубчик, — сказала Фрося, не оборачиваясь. — Приходите в субботу. Я вам поставлю Цфасмана. Послушаете.

— А можно... — Руматов замялся. — Можно и в среду, Евфросинья Петровна? Вы ведь... вы пели. Я видел афишу... то есть мне говорили. Вы могли бы выступить. Солисткой.

Фрося обернулась. Посмотрела на него долго, как в первый день, — не то насмешливо, не то жалостливо.

— Приходите завтра, — сказала она. — Завтра и поговорим.

И ушла, оставив на столе сумку с пластинками.

Анискин тоже поднялся.

— Ну вот, — сказал он. — Вот и ладно. А в район-то, видишь, и не понадобилось.

Он постоял ещё, будто хотел что-то добавить, но ничего не добавил и пошёл к двери. На пороге, как в прошлый раз, обернулся.

— Да, — сказал он. — Ты вот что, товарищ Руматов. Ты, когда в следующий раз чего надумаешь поднимать, ты сперва у людей спроси. Может, оно у них и так стоит.

И ушёл.

В первую среду на культурную программу пришли пятеро. Пришла Дуська, которая сидела в первом ряду и смотрела на Руматова, не мигая. Пришли учительница Малыгина с физкультурником Людвигом Ивановичем. И пришли два бывших председателя, которые сели в последнем ряду, потому что в клубе было тепло, а на лавочке у конторы задувало с реки. На втором Огинском оба уснули.

Фрося Бурлакова не пришла. Но в субботу на танцах, в двенадцатом часу, когда уже собирались расходиться, она вдруг сняла пластинку с радиолы, встала посреди зала, маленькая, седая, в старом платье, и запела, без музыки, без всего. Что она пела, потом никто толком не

мог пересказать: что-то довоенное, московское, про любовь. Но пела так, что на другом берегу, говорят, было слышно.

Руматов стоял у дверей, в шляпе и красных ботинках, и плакал. И не стыдился, потому что плакали все.

Отчёт № 2

Объект «Кедровка». Наблюдатель — Руматов Г. Н.

1. Легализация наблюдателя завершена. Легенда принята населением без существенных подозрений. Местное прозвище наблюдателя — «пан». Этимология устанавливается.

2. Впервые применён п. 17 Устава (содействие естественным прогрессивным тенденциям). Проведена реорганизация культурно-массовой работы сельского клуба. Введена еженедельная культурная программа (лекция, инструментальное исполнение, хоровое пение). Результат — положительный. Численность аудитории — 5 чел. Рост ожидается.

3. Выявлен носитель устойчивых эстетических предпочтений периода 1930-х гг. — Бурлакова Е. П., сторожика клуба, в прошлом профессиональная исполнительница. Наблюдатель установил с ней рабочий контакт. Рекомендую обратить внимание сектора: объект демонстрирует неожиданно высокий уровень музыкальной культуры. В связи с этим прошу сверить по архиву: является ли «Полонез Шопена» из учебного файла Отдела мимики в действительности полонезом Шопена.

4. Участковый уполномоченный милиции Анискин Ф. И. Пожилой, крупного телосложения. Неграмотен в части теории, однако обладает развитыми навыками сбора и анализа информации неустановленной природы. Местным населением воспринимается как авторитет, превосходящий авторитет председателя колхоза и, по-видимому, района. Фигура требует дальнейшего изучения.

5. Прошу уточнить: имеется ли связь между данным лицом и одноимённым героем литературного произведения середины XX века из фонда Исторического хранилища?

Ответ Базы:

*По п. 3: файл проверен. Это полонез Огинского. Ответственный сотрудник отдела пре-
дупреждён.*

По п. 5: литература указанного периода часто опиралась на реальных прототипов. Совпадения допустимы. Не придавайте значения.

*Сектор благодарит наблюдателя за содержательный отчёт. Напоминаем: п. 17 Устава предусматривает осторожное содействие. Не злоупотребляйте отдушиной. — Кон-
доров.*

10

Вечером, когда стемнело, Анискин сидел на своём крыльце, огромный, в нижней рубахе, сложив руки на животе. Большие пальцы медленно вращались — сначала по солнцу, потом против. Над рекой стояла луна, и от луны по воде шла дорожка до самого Васюганья.

Глафира вышла, постояла рядом, вытирая руки о передник.

— Ну? — сказала она. — Чего клубный-то?

Анискин долго молчал. Так долго, что Глафира решила, будто он уснул, и уже повернулась идти в избу.

— Чудной, — сказал Анискин. — Ну, поглядим.



ГЛАВА ВТОРАЯ. Генка Пальцев, сын Дмитрия Пальцева

1

Телеграмма лежала у Анискина в нагрудном кармане третий день.

Он не перечитывал её. Он и в первый раз прочитал её только один раз, стоя на крыльце почты, пока почтальонша Клава смотрела на него в окошко с таким выражением, будто ждала, что он сейчас упадёт. Прочитал, сложил вчетверо, сунул в карман рубахи, застегнул карман на пуговицу и пошёл домой. По дороге поздоровался с бывшими председателями, постоял у колодца, спросил у бабки Сычихи про её козу. А дома, войдя в избу, долго стоял посреди кухни, не садясь, и Глафира, которая в эту минуту чистила картошку, отложила нож и тоже долго не начинала чистить снова.

Телеграмма была короткая. Райотдел предлагал участковому уполномоченному Анискину принять меры к задержанию особо опасного рецидивиста Пальцева Геннадия Дмитриевича, 1938 года рождения, уроженца деревни Кедровка, бежавшего из мест заключения и совершившего на хуторе Безымянном Каргасокского района убийство с целью ограбления. В случае появления Пальцева по месту жительства родственников — задержать и немедленно сообщить.

В субботу утром Анискин сидел в своей милицейской комнате при сельсовете и слушал ходики.

Ходики висели на стене над столом, старые, с жестяным циферблатом, на котором была нарисована лиса с курицей в зубах, и с гирькой на цепочке, вместо которой давно уже был привязан обломок подковы. Шли они громко, с захлёбом, и вращались на семь минут в сутки, всегда в одну сторону, и Анискин каждое утро подводил их пальцем. Когда ему надо было подумать, он ходики останавливал. Тогда в комнате делалось так тихо, что слышно было, как за окном, в сельсоветском палисаднике, гудит шмель над мальвами.

Сегодня Анискин остановил ходики ещё в восемь.

Он думал о Генке.

Генку Пальцева он помнил с той минуты, как Генка родился. Помнил, как Генка ходил в школу — большой, красивый, ласковый мальчик с длинными ресницами, — и как учительницы его любили, и как он у них таскал из сумочек мелочь и всегда так плакал, когда ловили, что ему всегда прощали. Помнил, как Генка в шестнадцать лет первый раз попался на краже — в райцентре, из ларька, — и как Анискин ездил за него хлопотать, потому что Генка плакал, а мать Генкина, тихая, болезненная Аграфена, стояла перед Анискиным на коленях. Помнил, как Генка во второй раз попался уже не в райцентре, а в Томске, и тогда Анискин за него хлопотать не поехал. Помнил всё.

И теперь, думая о Генке, Анискин неизменно приходил к одному и тому же: к Генкиному отцу, Дмитрию Пальцеву. Генка был весь в отца, хотя на отца лицом не походил. Он походил на мать. А в отца он был тем, чего не видно, — тем, что сидело в Пальцевых глубоко, как сидит камень в болоте, и что Анискин за сорок лет так и не сумел ни выковырнуть, ни понять до конца.

Под левым соском у Анискина был шрам — круглый, бугристый, с белыми лучиками стянутой кожи. В деревне знали, что это с войны. Анискин не спорил. На войне он действительно был и ранения там действительно имел, но не это. Этот шрам он получил на двенадцать лет раньше войны, в овраге за Ерёминым бором, ночью, когда шёл один с собрания, где

делили пальцевскую мельницу. Стреляли из обреза, с двадцати шагов, и стрелявшего Анискин не видел. Видел только небо над оврагом — чёрное, в мелких злых звёздах, — и запомнил, как пахла земля, на которую он лёг. Никого тогда не нашли. Анискин никого и не искал, хотя знал.

А потом он сорок лет жил рядом с Дмитрием Пальцевым, здоровался с ним на улице, сидел с ним на собраниях, покупал у него сено. И Пальцев сорок лет жил рядом с ним.

Шмель за окном гудел. Анискин встал, подошёл к ходикам, хотел было толкнуть маятник — и не толкнул.

— Пойдите пока, — сказал он ходикам и сел обратно.

2

Генку Руматов встретил накануне, в пятницу, на закате.

Он сидел на крыльце клуба с аккордеоном на коленях и разучивал новую вещь — вальс «На сопках Маньчжурии», который ему, не говоря ни слова, оставила на столе Фрося Бурлакова в виде старых нот, переписанных от руки. Руматов был ей за это так благодарен, что второй день не решался ей об этом сказать. Вальс шёл трудно. Левая рука путалась в басах.

— Эх, — сказал кто-то над ним. — Эх, хорошо играете, товарищ.

Руматов поднял голову.

Перед крыльцом стоял парень. Он был огромный — не такой огромный, как Анискин, а иначе: высокий, широкий в плечах, с длинными руками, перевитыми под закатанными рукавами мускулами, как канатами. Но лицо у него было совсем не такое, как тело. Лицо было тонкое, бледное, нежное, будто его взяли от другого человека, — с большими серыми глазами под длинными, почти девичьими ресницами, с мягким ртом и золотистым пушком на щеках. Такие лица Руматов видел в Историческом хранилище, на старинных рождественских открытках с ангелами. Херувим, вспомнил он. Так это называлось.

— Благодарю вас, — сказал Руматов, поднялся и, по привычке, щёлкнул каблуками. — Руматов. Заведующий клубом.

— Знаю, знаю, — сказал парень и улыбнулся. Улыбка у него была ещё нежнее лица. — Мне говорили. Про вас вся деревня говорит, товарищ Руматов. Что вы культурный. Что музыку играете. А я Генка. Пальцев. Здешний я. Только меня долго не было.

— Вы были в отъезде?

— В отъезде, — согласился Генка и опустил ресницы. — В таком отъезде, товарищ Руматов, что лучше бы и не было его, этого отъезда. Ну, что ж тут скрывать, сами узнаете, тут все всё знают. Сидел я, товарищ Руматов. Молодой был, дурной, связался с плохими людьми в городе. Ой, как вспомню — так сердце болит. Мать-то, мамочка-то моя, как убивалась. А теперь отпустили. Досрочно, за хорошее поведение. Я ведь там, товарищ Руматов, в самодеятельности участвовал. Пел.

— Пели?

— Пел, — сказал Генка, и глаза у него вдруг увлажнились. — В хоре пел. Нам там начальник культурно-воспитательной части говорил, что у меня голос. Баритон. И я теперь, товарищ Руматов, так думаю: вернусь в родную деревню, начну новую жизнь, буду в колхозе работать, а по вечерам — в клуб, в самодеятельность. Чтобы, значит, всё по-хорошему. Возьмёте вы меня в хор, товарищ Руматов?

Говорил он мягко, без пауз, слово за словом, и слова у него лились одно за другое, как вода из лейки, и от этого журчания Руматов как-то размяк и не сразу заметил, что Генка ни разу не моргнул.

— Конечно, — сказал Руматов. — Конечно, возьму. Приходите в среду.

— Приду, — сказал Генка. — Беспременно приду, товарищ Руматов. Ой, спасибо вам. Вот бывают же такие люди на свете — культурные, душевные. Не то что некоторые.

Он ещё постоял, поулыбался, поблагодарил ещё раз и ушёл — мягко, неслышно, как ходят большие звери, и Руматов заметил, что под его огромными сапогами не стукнула ни одна доска тротуара.

Вечером Руматов записал в книжечку:

Пальцев Геннадий Дмитриевич, ок. 25 лет. Бывший правонарушитель, освобождённый досрочно. Проявляет выраженную тягу к коллективному художественному творчеству. Голос — баритон (со слов). Наблюдается естественная прогрессивная тенденция ресоциализации через культуру. Рекомендуется вовлечение в хоровой коллектив.

Подумав, он приписал ниже:

Вероятно, жертва социальных условий. Пенитенциарная система данного периода, согласно архивным материалам Института, не обеспечивала...

Дальше он не дописал, потому что не помнил, чего именно не обеспечивала пенитенциарная система, но ощущение, что он сделал доброе дело, осталось у него до самой ночи.

3

Генка пришёл к Анискину в субботу, в двенадцатом часу дня.

Анискин услышал его раньше, чем увидел, — то есть не услышал, а, наоборот, перестал слышать: шмель за окном вдруг замолчал и улетел, как улетает шмель, когда рядом с мальвами встаёт кто-то большой. Потом открылась дверь. Генка вошёл, прикрыл её за собой и встал у порога, заслонив собой весь проём, — в рубаше с закатанными рукавами, в галифе, в сапогах, с опущенными руками и с таким светлым, таким ясным лицом, будто пришёл получать почётную грамоту.

— Здравствуйте, дядя Анискин, — сказал он.

Анискин не ответил. Он смотрел на остановленные ходики.

— Я, дядя Анискин, к вам с просьбой, — сказал Генка, не дождавшись. — С маленькой. Мне бы пересидеть. До понедельника. В понедельник «Пролетарий» вниз пойдёт, я на нём и уплыву, и больше вы меня в Кедровке никогда не увидите. Никогда, дядя Анискин. Вот как перед богом.

— Сядь, — сказал Анискин.

Генка сел на табуретку у стены. Сел как-то боком, повернувшись к Анискину правым плечом, и левую руку положил на левое колено, ладонью вниз, у самого кармана галифе.

Анискин долго молчал. Потом расстегнул пуговицу нагрудного кармана, достал телеграмму, развернул и положил на стол. Генка посмотрел на неё и не изменился в лице.

— Хутор Безымянный, — сказал Анискин. — Каргасокский район. Парикмахерша. Звали её, Генка, Нина Степановна Лапшина. Сорок один год. Работала в Каргаске в парикмахерской, а на хутор к сестре приезжала на выходные. Ты к ним постучался ночью, попросился переночевать. Сказал, что с покоса идёшь, заплутал. Они тебя пустили. Сестра тебе щей налила. — Он помолчал. — А часы у неё были золотые, на руке, муж покойный подарил. Ты их увидел, пока щи ел.

— Дядя Анискин...

— Помолчи. Я не спрашиваю. Я рассказываю. Это мне вчера из райотдела по телефону досказали. Она, Генка, ещё сутки жила. В Каргаске в больнице. И всё про тебя рассказала. И как ты щи ел, и как ты нахваливал, и какие у тебя ресницы. Тебя по ресницам и нашли. По карточке из твоего дела. У неё двое осталось, Генка. Девчонке девять, парнишке шесть.

Генка молчал. Лицо у него оставалось светлым и ясным, только щёки и шея пошли неровными пятнами, как бывает у очень белокожих людей, когда им душно.

— Она сама, — сказал он наконец тихо. — Она сама забилась, дядя Анискин. Я её только держал. Я не хотел. Она бы кричать стала, сестру бы разбудила. Я её только держал, а она сама...

— Сама, — повторил Анискин без выражения.

Он встал, подошёл к окну и стал смотреть на реку. За рекой лежало Васюганье. Отсюда, из сельсоветского окна, его не было видно — была видна только полоса кедрочей на том берегу, — но Анискин всё равно на него смотрел, потому что знал, что оно там. Болота на сотни вёрст. Мхи, кочкарник, чёрная вода окнами, хилые сосёнки в рост человека, гнус, который ест заживо. Туда за сорок лет уходили трое, кого Анискин знал. Один вышел через три недели к остоякам на Васюгане. Двое — нет.

— Вот что, Генка, — сказал он, не оборачиваясь. — В район я тебя отдам. Это мне сделать надо, и я это сделаю. Но не сейчас. Не сию минуту. Я, Генка, своих в район без последнего слова не сдаю. Ты своё последнее слово сам скажешь. Не мне. Ему.

Он кивнул в окно, на тот берег.

— До полуночи, — сказал он. — Сроку тебе до полуночи. В полночь я к вам приду, на двор. Застану — возьму. Не застану — значит, ушёл за Обь. Лодки на замке, вёсла у меня в сенях лежат, все до одного, я с утра собрал. Так что переправа тебе вброд, у Чёрной протоки, где мель. Там по грудь. А дальше — пешком. Без хлеба, без спичек, без ничего. Выйдешь где-нибудь живой — значит, Васюганье тебя рассудило, и ты другим человеком вышел. Тогда иди сам в любой сельсовет и сдавайся, и я на суде за тебя скажу. А не выйдешь — значит, оно тебя рассудило по-другому. Тоже суд. Не хуже районного.

Генка смотрел на его спину.

— Это ж всё одно смерть, — сказал он шёпотом.

— А ты чего хотел? — спросил Анискин, по-прежнему не оборачиваясь. — Щей и пароход?

Он помолчал.

— Иди, Генка. Думай. Тебе сегодня одному думать. Без отца.

Генка встал. Встал и пошёл к двери, и шёл он теперь не мягко и неслышно, как вошёл, а тяжело, задевая сапогами за порог. Левую руку он так и не отнял от кармана.

— Генка, — сказал Анискин ему в спину.

Генка остановился.

— Ты руку-то от кармана отними. Чего держишься? Не на базаре. Не украдут.

Генка постоял секунду. Потом, не оборачиваясь, вышел.

Анискин долго стоял у окна. Потом вернулся к столу, сложил телеграмму, сунул обратно в карман и застегнул пуговицу. Потом подошёл к ходикам, подтянул цепочку с обломком подковы и толкнул маятник.

Ходики пошли.

4

Вечером, в начале девятого, когда солнце висело ещё высоко над Васюганьем, но тени от изб уже легли через всю улицу, в дверь клубной каморки постучали.

Руматов открыл. На пороге стоял старик.

Он был сухой, тёмный, жилистый, в старом пиджаке поверх ситцевой рубахи, в кирзовых сапогах, и держал в руках фуражку. Лицо у него было узкое, костистое, туго обтянутое тёмной кожей, а глаза — Руматов это увидел сразу и вздрогнул — были те же: большие, серые, под длинными ресницами. Только старые. Такие старые, что в них, казалось, уже ничего не отражалось.

— Пальцев я, — сказал старик. — Дмитрий. Генкин отец.

— Прошу вас, — сказал Руматов и отступил.

Пальцев вошёл, огляделся — так же, как неделю назад оглядывался Анискин, сразу и всё, — но сел не на кровать, а на венский стул, на самый краешек, и фуражку положил на колени.

— Я к тебе, клубный, по делу, — сказал он. Говорил он не так, как Генка, — сухо, коротко, без всякого журчания. — Ты человек приезжий. Ты тут ни с кем не повязанный. Тебе я сказать могу, а другим не могу.

— Я слушаю.

— Генка мой, — сказал Пальцев. — Анискин его погубить хочет.

И он рассказал. Рассказал коротко и страшно: что Генка вернулся, что в городе с ним случилась беда — «попал он, клубный, в нехорошее, по глупости, по молодости», — что на хуторе какая-то баба от испугу померла, а повесили на Генку, потому что кто ж ещё, раз сидел. Что Анискин Генку вызвал и дал ему до полуночи срока, а потом возьмёт и отдаст райотделу, а райотдел — к стенке. Что податься Генке некуда, к отцу нельзя, к отцу Анискин первым делом придёт. Что Анискин их, Пальцевых, сорок лет ненавидит и только ждал случая.

— Он нас, клубный, с тридцатого года давит, — сказал Пальцев тихо. — Отца моего раскулачили — он раскулачивал. Мельницу нашу отобрали — он отбирал. Он нас сорок лет давит, а теперь до Генки добрался. Ему Генку на расстрел отдать — как воды попить.

— Что я могу сделать? — спросил Руматов.

Пальцев поднял на него свои старые серые глаза.

— До понедельника, — сказал он. — Только до понедельника. Пока пароход. У тебя тут кладовка есть, за сценой. Туда никто не ходит. Генка тихий. Генка просидит. А в понедельник сядет на «Пролетарий» — и вниз. А там уж я знаю, к кому. Там его не найдут.

Руматов молчал.

Он думал. Он думал быстро и много, так много, что потом, вспоминая этот вечер, не мог восстановить и половины.

Он думал о пункте семнадцатом. Он думал о Кондрове, о его ладони на несуществующем эфесе и о том, как Кондров сказал: «Вы будете видеть, как хорошие люди гибнут за ничто». Он думал об Арканаре, о котором читал в архивах и о котором не говорили в Институте, и о том наблюдателе, который был там до Кондрова, — тот спасал книжников, учёных, поэтов, которых травили серые. Спасал тайно, переправлял за границу, прятал. И Институт его потом за это не осудил, а только перевёл. Он думал о базисной теории, которая ясно говорила, что преступность в обществах данного типа есть явление социально обусловленное, что преступник есть прежде всего продукт среды, что наказание в таких обществах носит не исправительный, а карательный характер, а смертная казнь является рудиментом. Он думал о Генке — о его лице, о ресницах, о слезах, о голосе, о хоре. Баритон.

И он думал об Анискине. О том, как Анискин сидел на его кровати и спрашивал «чей будешь». О том, как он взвешивал его глазами. О том, что этот человек, без сомнения, обла-

дает властью, которую нельзя ни проверить, ни обжаловать, ни ограничить, — властью почти феодальной, абсолютной в пределах одной деревни. И эта власть сейчас решает, жить или не жить человеку, и решает её не суд, не закон, а один толстый старик в платке с узелками, по каким-то своим, никому не ведомым понятиям.

— Хорошо, — сказал Руматов.

Пальцев не поблагодарил. Он только кивнул и встал.

— Ещё, — сказал Руматов, и сам удивился тому, что говорит. — Ему нужны деньги. На билет. И на первое время.

Он полез в чемодан и достал конверт. В конверте были подъёмные — сто двадцать рублей, выданные ему облуправлением культуры, а на самом деле Отделом мимикрии. Он отсчитал пятьдесят и протянул Пальцеву.

Пальцев посмотрел на деньги. Потом на Руматова. Потом взял — медленно, двумя пальцами, будто брал что-то горячее, — и спрятал во внутренний карман пиджака.

— Чудной ты, клубный, — сказал он. — Ох и чудной.

И ушёл.

В этот вечер Руматов впервые ничего не записал в книжечку. Он сел за стол, раскрыл её, взял карандаш, посидел так минут десять и закрыл. Потом пошёл в кладовку за сценой, вынес оттуда ведро и швабру, постелил на пол старый занавес и принёс из своей каморки подушку.

5

Без четверти девять Анискин пил у себя на кухне чай. Пил он медленно, стакан за стаканом, хрустел сахаром, отгрызал от бруска сало, и лицо у него было такое, как всегда за чаем, — красное, распаренное, блаженное. Но Глафира, сидевшая напротив, смотрела не на лицо, а на руки, и руки у него сегодня были не такие. Пальцы, державшие стакан, не лежали спокойно, а всё время шевелились.

— Пойду в колхоз, — сказал наконец Анискин. — Дела есть. Ты мне в сенцах постели, я поздно вернусь.

Он поднялся, стол и табуретка закрипели, пол заныл. Анискин вытер полотенцем лицо, бросил полотенце на подоконник и пошёл к двери. Глафира сидела, опустив голову. Она не обернулась, но, когда он уже взялся за скобу, сказала очень тихо:

— Анискин.

— Но.

— Ты бы взял пистолет-то.

Анискин остановился. Он стоял в дверях спиной к ней, огромный, как дверь, и долго не отвечал. Потом медленно повернулся.

— Не возьму, — сказал он. — Я его убивать не собираюсь.

И вышел.

В колхоз он не пошёл. Он пошёл к учителю.

Учитель восьмилетней школы Владимир Викторович Филатов жил в доме из сосновых брусьев, на краю деревни, у самого кедрача. Он был человек городской, томский, сосланный в Кедровку, как он сам говорил, «за избыток критического мышления», а на самом деле — за то, что поругался с завучем. Преподавал математику и физику, был умён, зол, одинок и пил. Анискина он не любил и называл в глаза унтером Пришибеевым. Анискин на это не обижался и иногда заходил к нему вечерами просто посидеть. Почему — этого не понимал ни Филатов, ни, наверное, сам Анискин.

У Филатова сидел Руматов.

Анискин увидел его ещё с улицы, через раскрытое окно: тот сидел за столом напротив учителя, прямой, в белой нейлоновой рубашке, а между ними стояла бутылка и два стакана. Анискин постоял под окном, послушал. Потом вошёл.

— А, — сказал Филатов, не вставая. — Унтер. Заходите, унтер, садитесь. Мы тут как раз о вас.

— Здорово, Владимир, — сказал Анискин и сел у двери, на лавку. — Здравствуй, товарищ Руматов.

Руматов встал и щёлкнул каблуками. Анискин махнул ему рукой — сиди.

— Мы о преступности, — сказал Филатов и налил себе. Руматову он тоже налил, но Руматов к стакану не притронулся. — О природе преступности, унтер. Геннадий Николаевич утверждает, что преступник есть продукт среды. Что не человек виноват, а условия, в которых он вырос. Что наказывать нужно не преступника, а общество, которое его породило. Очень передовая мысль. Я с ней почти согласен.

— Почти, — повторил Анискин.

— Почти. Потому что если не человек виноват, а среда, то и мы с вами, унтер, не виноваты ни в чём. Ни вы, ни я, ни Геннадий Николаевич. А это скучно. Это лишает жизнь драматизма.

— Я не говорил, что человек ни в чём не виноват, — медленно, тщательно сказал Руматов. Он, видимо, был немного пьян, потому что говорил ещё медленнее обычного. — Я говорил, что общество данного типа... то есть наше общество, на данном этапе... не располагает

механизмами исправления. Что наказание у нас носит карательный характер. Что высшая мера является рудиментом. Что в обществе будущего...

— В обществе будущего, — подхватил Филатов, — преступников не будет. Будет коммунизм. Все будут хорошие. Читал, читал. «Полдень, двадцать второй век». Очень трогательно.

Руматов вздрогнул так сильно, что Анискин это заметил.

— Что?

— Книжка такая, — сказал Филатов. — Фантастика. В Томске в книжном видел. Про то, как всё будет хорошо. Не читали?

— Нет, — сказал Руматов. — Не читал.

— И не читайте. Враньё. — Филатов выпил. — А вы, унтер, что думаете? Вот вы тридцать лет ловите. Вот вы скажите: преступник — продукт среды или нет?

Анискин молчал. Он сидел на лавке, сложив руки на животе, и большие пальцы его медленно вращались. На Филатова он не смотрел. Он смотрел на Руматова — тяжело, неподвижно, как смотрел утром на остановленные ходики.

— Я так думаю, — сказал он наконец, — что человек он и есть человек. А среда и есть среда. Одно другому не мешает.

— Это не ответ, — сказал Филатов.

— Это ответ, — сказал Анискин. — Ты, Владимир, учёный, тебе ответ подавай по формуле. А по формуле, Владимир, только задачки решают. А люди — они не по формуле.

Он помолчал.

— Ты вот, Владимир, на Чёрную речку давно ходил? Там глина есть. Хорошая глина, кирпичная. Я председателю третий год говорю: давай кирпич делать, свой, не из району возить. А он не понимает. По формуле у него кирпич из району положен. Вот и вся среда.

Филатов захохотал. Руматов не засмеялся. Он сидел прямо, с белым лицом, и смотрел в стол.

Посидели ещё. Анискин выпил у Филатова два стакана чаю, от водки отказался, поговорил о погоде, о рыбе, о новом председателе. Около одиннадцати поднялся.

— Пойду, — сказал он. — Поздно.

Уже на пороге он обернулся, как оборачивался всегда.

— Ты, товарищ Руматов, клуб-то нынче запер?

Руматов поднял глаза.

— Запер, — сказал он. — В двадцать один сорок.

Анискин кивнул.

— Ну и ладно, — сказал он. — В двадцать один сорок. Ну и ладно.

И ушёл, и Руматов долго ещё смотрел на закрывшуюся дверь и чувствовал, как по спине у него ползёт холод, точно такой же, как в первый день, на пароходе, когда человек с яра посмотрел на него и ничего не сказал.

6

К полуночи небо над Кедровкой так и не потемнело до конца. В июне в Нарыме не бывает настоящей ночи: заря с запада переползает на север, тускнеет, становится зелёной, как бутылочное стекло, и, не успев погаснуть, начинает разгораться снова уже на востоке. Луны не было — она взошла поздно, за кедрачами, и пряталась там. Было светло ровным, серым, бестенным светом, в котором всё видно и ничего не разглядишь.

Анискин шёл по деревне и чувствовал себя молодым.

Так бывало с ним только ночью. Днём у него болело сердце, ныли ноги, под ложечкой сосало, как у старика, а ночью всё проходило. Ночью он шёл легко, хоть и был огромный, и видел всё, и слышал всё, и думал быстро и ясно. Где-то у протоки парни играли на гармошке — не песню, а так, перебирали лады, — и Анискин, проходя, узнал, кто играет, по тому, как спотыкается третий бас: Колька Изотов, у которого на гармошке западала кнопка.

Дом Пальцевых стоял на окраине, у самого кедрача.

Во всей Кедровке калитки закладывали на ночь щепкой или палкой, продетой в петлю, — чтобы корова не вышла и чужая собака не зашла. Замков не вешал никто. Замок на калитке в Кедровке значил одно: хозяин соседям не верит. И только у Пальцевых ворота были на кованом засове, а калитка — на висячем амбарном замке, большом, как кулак. Замок этот висел здесь с тридцатого года, с того самого года, и за сорок лет так проржавел, что стал одного цвета с досками. Ребятишки, пробегая мимо, на всякий случай не смотрели на него.

Сегодня замок висел открытый, на одной дужке.

«Эх, Митрий, — подумал Анискин. — Сорок лет запирался. А нынче отпер. Для кого отпер-то?»

Он вошёл во двор. Двор был пустой и чистый, как всегда у Пальцевых, — ни щепки, ни соломинки, поленница сложена ровно, как по линейке. Анискин прошёл к большому сараю. Двери сарая были открыты. Внутри было пусто.

Он постоял на пороге. Пахло сеном, дёгтем, мышами. На перевёрнутом корыте у стены лежала старая телогрейка, и Анискин подошёл, потрогал её рукой. Телогрейка была холодная.

Он вышел из сарая и посмотрел на дом.

В тёмном окне, за стеклом, стоял Дмитрий Пальцев. Он стоял неподвижно и смотрел на Анискина. В сером бестенном свете лицо его казалось плоским, как вырезанным из бумаги, и только глаза — большие, старые, под длинными ресницами — были тёмные.

Они смотрели друг на друга долго. Наверное, минуту. Может быть, больше.

Потом Анискин повернулся и пошёл со двора. Калитку за собой он прикрыл аккуратно, без стука, а замок трогать не стал.

На улице он остановился, поглядел в ту сторону, где за конторой, за колодцем, белело крыльцо клубы, — и пошёл туда.

7

Руматов вернулся от Филатова в начале двенадцатого. Он не стал заходить в каморку, а прошёл прямо в зал, тёмный, пустой, пахнувший вымытыми полами, и далыше, за сцену, к кладовке. Он нёс в руках свёрток: хлеб, сало, четыре варёных яйца, которые ему утром продала бабка Сычиха, и бутылку молока.

— Геннадий, — позвал он тихо у двери кладовки. — Это я. Руматов.

Дверь открылась сразу, будто Генка стоял прямо за ней и ждал. Он был в той же рубаше с закатанными рукавами, в галифе и сапогах, и в темноте его лицо казалось ещё бледнее, а глаза — ещё больше.

— Ой, спасибо вам, товарищ Руматов, — сказал он и взял свёрток. — Ой, какой вы человек. Я ведь, товарищ Руматов, вам по гроб жизни...

Он вдруг замолчал. Он стоял, держа свёрток, и слушал. Руматов тоже прислушался, но ничего не услышал: ночь, тишина, гармошка у протоки, собака где-то лает.

— Ты кому говорил? — спросил Генка.

Голос у него был другой. Не журчащий. Простой и тихий.

— Никому, — сказал Руматов.

— Врёшь, — сказал Генка. — Анискину говорил.

— Я никому...

— Ты у учителя сидел, — сказал Генка. — И он там сидел. Я в окно видел. Я с крыши видел. Ты у учителя сидел, и он сидел. Врёшь ты, клубный.

И Руматов увидел, как Генка, не выпуская свёртка из правой руки, левой медленно, плавно, без всякой спешки достаёт из кармана галифе пистолет.

Это был старый пистолет, «ТТ», тусклый, потёртый, — Руматов узнал его по учебным таблицам, которые видел в Институте. Генка держал его небрежно, некрепко, рука у него была согнута, и ствол смотрел не прямо на Руматова, а куда-то мимо, в стену. Но Руматов знал — его учили это знать, — что с полутора метров промахнуться невозможно, даже если рука согнута, даже если ствол смотрит в стену.

— Деньги давай, — сказал Генка. — Все, сколько есть. И гармонь свою давай. Гармонь триста пятьдесят стоит, мне Клавка с почты говорила. И лодку мне найди. Ты клубный, тебе дадут. Скажешь — для самодеятельности. Пароход в понедельник, а мне ждать некогда. Мне сейчас надо. Понял?

Лицо его было по-прежнему нежное, бледное, херувимское. Глаза были по-прежнему серые, большие, под длинными ресницами. Только в них теперь ничего не отражалось. Совсем ничего — как у отца.

Руматов стоял неподвижно.

Он знал, что может сделать. Его этому учили два года, в спортзале на шестом этаже Института, где стены были мягкие, а инструкторы — быстрые, как кошки. Шаг влево, перехват кисти, разворот, — секунда, может быть, полторы. Генка был сильный, огромный, но медленный. Генка ничего бы не понял. Генка лежал бы на полу с вывернутой рукой, а пистолет был бы у Руматова, и всё было бы кончено.

И всё действительно было бы кончено. Потому что завклубом Руматов Геннадий Николаевич, выпускник Кемеровского культпросветучилища, руководитель самодеятельного хорошего коллектива, не умел так делать. Никто в Кедровке так не умел. Никто во всём Нарымском крае не умел так делать, а если кто и умел, то это был не завклубом. Это был бы конец легенде, конец наблюдению, конец объекту. Кондоров узнал бы об этом в тот же день.

И Руматов стоял неподвижно перед стволом, и впервые в жизни, не в учебнике, не в архиве, не в лекции, а вот так, в полутора метрах от собственного лица, видел то, о чём в

Институте говорили много и умно. Ни среды, ни условий, ни социальной обусловленности, ни рудиментов. Человек, у которого внутри ничего нет. Совсем ничего. Красивый человек с лицом ангела с открытки, который задушил женщину за часы и теперь убьёт его за гармонию.

— Ну? — сказал Генка. — Чего стал?

И тут в зале закрипели доски.

Скрипели они не так, как скрипят под осторожными шагами, а открыто, громко, нарочно — так, как они скрипели под одним-единственным человеком в Кедровке. Генка вздрогнул и повернул голову. Руматов тоже. В дверном проёме, ведущем из зала за сцену, в сером ночном свете, падавшем через высокое окно, выросла огромная тень. Тень шагнула, и в проёме встал Анискин.

Он был без оружия. Без фуражки, без платка, в той же серой рубаше, распахнутой на груди, в широких парусиновых штанах, в сандалиях на босу ногу. Руки у него висели вдоль тела. Он стоял и смотрел на Генку.

Генка развернулся. Ствол «ТТ» ушёл от Руматова и встал прямо против Анискина — в грудь, туда, где под рубашкой был старый шрам.

— Не подходи, — сказал Генка. — Не подходи, дядя Анискин. Выстрелю.

— Не выстрелишь, — сказал Анискин спокойно, почти устало. — Ты, Генка, весь вечер на подушке пролежал. Клубный тебе подушку принёс, ты на ней и лежал. Сальце ел. Пароход ждал. А за Обь, к Чёрной протоке, где по грудь, — не пошёл. Испугался воды холодной. — Он помолчал. — Кто холодной воды испугался, тот и курка не спустит. Это я тебе, Генка, точно говорю. Я таких сорок лет вижу.

И он пошёл.

Он пошёл на Генку медленно, косолапо, тяжело ставя ноги в сандалиях на крашенные доски. Шёл прямо на ствол, не сводя с Генки маленьких глаз, — большой, грузный, неторопливый, тёмный в сером свете, похожий на тех деревянных идолов, каких, говорили старики, ставили когда-то остяки на высоких мысах над Обью, — с круглыми лицами, со сложенными на животе руками, глядящих на реку сотни лет подряд. Руматов смотрел на него и не мог вздохнуть. Генка смотрел на него и не мог выстрелить. Рука у Генки дрожала, ствол прыгал, на щеках и шее снова проступали неровные пятна.

Анискин подошёл вплотную. Ствол упёрся ему в живот. Анискин посмотрел вниз, на пистолет, потом вверх, на Генку, потом протянул руку и взял пистолет из Генкиных пальцев — спокойно, как берут ложку у ребёнка.

Генка сел на пол. Прямо где стоял — сел, обхватил колени руками и заплакал. Плакал он теперь без всякого журчания, тонко, по-детски, всхлипывая и икая.

Анискин сунул пистолет в карман штанов. Потом повернулся к Руматову.

Он ничего не сказал. Он только посмотрел.

8

Генку увезли в район в воскресенье на рассвете, на колхозной моторке. Везли двое — Анискин сам выбрал, кому везти: колхозный шофёр Колотовкин, который воевал в разведке, и кузнец Юсупов, который в одиночку поднимал задний мост трактора. Генка сидел между ними на средней банке, в наручниках, в своей рубахе с закатанными рукавами, и смотрел на воду. Когда моторка отваливалась, он вдруг поднял голову и посмотрел на берег, на яр, на деревню. Посмотрел туда, где на окраине, у кедрача, стоял его дом. Потом опустил голову и больше не поднимал.

Народу на берегу не было. Генкин отъезд деревня проспала, а может быть, и не проспала, а сделала вид, что проспала. Только у осокоря на яру стояли двое: Анискин и Руматов.

Моторка ушла за излучину. Звук мотора стал тише, потом совсем пропал. Обь лежала гладкая, белёсая, утренняя, и над ней поднимался туман, и за туманом не было видно ни кедрачей, ни Васюганья.

— Ты деньги-то свои назад получи, — сказал Анискин, не глядя на Руматова. — У Митрия. Пятьдесят рублей. Он их не тронул. Он не дурак, Митрий. Он знает, когда брать. Скажешь — я велел.

Руматов молчал.

— Ты, товарищ Руматов, думал, ты его спас, — сказал Анискин. — А ты его не спас. Ты у него отнял.

— Что отнял?

— Болото, — сказал Анискин и повернул к нему тяжёлое, серое после бессонной ночи лицо. — Был у Генки один шанс. Последний. Уйти в болото. Там, за Обью, Генка, может, и сгинул бы. А может, и вышел бы. Может, через месяц вышел бы где-нибудь на Васюгане, к охотникам, весь в комарах, в коросте, полумёртвый, — и уже другим человеком. Я, товарищ Руматов, таких видал. Одного. Он потом в войну до Берлина дошёл. Болото, оно из человека всё лишнее выжимает. А что останется — то и есть человек. Был у Генки такой шанс. Я ему его дал. По-нашему, по-деревенски. Не по-райотдельски. А ты пришёл и дал ему клуб. Кладовку, подушку, сальце. И пятьдесят рублей. Вот и не пошёл Генка в болото. Зачем ему болото, когда клуб есть? Теперь Генке одно — к стенке.

Он помолчал.

— Ты, товарищ Руматов, ему болото на клуб сменял. Вот и всё твоё просвещение.

Руматов стоял, опустив голову. Туман над рекой поднимался всё выше, и солнце, ещё невидимое, уже окрашивало его снизу в розовое.

— Вы теперь... — сказал он с трудом, медленно. — Вы теперь напишете? В район? Про меня? Про укрывательство?

Анискин посмотрел на него долго.

— Не напишу, — сказал он.

— Почему?

— А потому, — сказал Анискин, — что я, товарищ Руматов, своих в район не сдаю, ежели без этого обойтись можно. Генку нельзя было. А тебя — можно. А ты теперь вроде и свой. Ты теперь Генку знаешь, и Митрия знаешь, и меня. Ты теперь в деревне повязанный. Дурной ты только. Ох и дурной.

Он поднялся с бревна, на котором сидел, отряхнул штаны, постоял ещё, глядя на реку.

— А в болото, — сказал он, — ты всё же сходи как-нибудь. Посмотри. Для образования.

И пошёл к деревне, огромный, тяжёлый, неторопливый, и Руматов смотрел ему в спину, пока тот не скрылся за избами.

Отчёт № 3

Вечером в воскресенье Руматов сидел в своей каморке с аккордеоном на коленях и записной книжкой на столе.

Он писал долго. Он писал правду. Писал, что вступил в контакт с беглым преступником, не установив его личности. Что на основании ложной информации и собственной оценки ситуации принял решение об укрытии преступника от местных органов правопорядка. Что предоставил ему убежище, пищу и денежные средства. Что тем самым грубо нарушил основной принцип невмешательства и не может квалифицировать свои действия по пункту 17. Что в результате его действий возникла непосредственная угроза жизни наблюдателя и раскрытия легенды. Что ситуация была разрешена местным участковым уполномоченным Ф. И. Анискиным без применения оружия. Что Анискин о вмешательстве наблюдателя осведомлён, но сообщать о нём не намерен. Что наблюдатель считает себя обязанным...

Он перестал писать. Перечитал. Потом аккуратно, по сгибу, вырвал из книжки два исписанных листа, сложил их вчетверо и сунул в печку-голландку, которую в июне никто не топил. Достал спички. Постоял. Поджёг.

Когда листы догорели, он сел за стол, открыл книжку на чистой странице и написал:

Объект «Кедровка». Наблюдатель — Руматов Г. Н.

Наблюдал задержание особо опасного преступника (Пальцев Г. Д., бежавший из мест заключения, убийство с целью ограбления) местным участковым уполномоченным Анискиным Ф. И. Задержание произведено без применения оружия. Преступник этапирован в районный центр.

Вмешательства наблюдателя не было.

Он долго смотрел на последнюю строку. Потом нажал на аккордеоне два верхних регистра одновременно, дождался тихого, почти неслышного щелчка внутри мехов и продиктовал отчёт ровным голосом.

Ответ пришёл через сорок минут.

Сектор благодарит наблюдателя. Материалы о методах работы местного правопорядка представляют значительный интерес. Продолжайте наблюдение. — Кондоров.

Руматов закрыл аккордеон и долго сидел в темноте.

А на окраине деревни, у самого кедрача, на пальцевской калитке висел большой ржавый амбарный замок, снова запёртый на обе дужки.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Луна над Обью

1

В субботу после бани к участковому уполномоченному Анискину пришёл кузнец Юсупов.

Анискин сидел у себя во дворе, под черёмухой, на табуретке, в одних штанах, закатанных до колен, и держал ноги в цинковом корыте с колодезной водой. Ноги у него к вечеру отекали, и районный врач велел ему держать их в холодной воде по полчаса утром и вечером. Анискин держал. Лицо у него при этом было такое, будто его пытаются, а вода в корыте от его ног делалась тёплой за пять минут, и Глафира каждые пять минут приносила новое ведро.

— Здорово, товарищ Анискин, — сказал кузнец и остановился у калитки, глядя на корыто.

— Здорово, — сказал Анискин. — Чего уставился? Ноги лечу. Не видал, как ноги лечат?

— Не видал, — честно сказал кузнец.

Кузнец Юсупов был человек огромный, тихий, чёрный от угля так, что не отмывался никакой баней, и стеснительный, как девушка. Говорить он не любил и не умел. Когда ему надо было что-нибудь сказать, он сначала долго смотрел в землю, потом долго смотрел на свои руки, потом поднимал глаза и говорил одно слово. Если его понимали — хорошо. Если не понимали — он опять смотрел в землю.

— Садись, — сказал Анискин. — Говори.

Кузнец сел на чурбачок у поленницы, посмотрел в землю, посмотрел на руки.

— Спица, — сказал он.

— Какая спица?

Кузнец полез в карман и достал велосипедную спицу. Спица была обыкновенная, только конец у неё был расплюсчен, загнут крючком и оплавлен, как будто его держали в огне.

— На наковальне лежала, — сказал кузнец. — Утром. Я пришёл — лежит.

Анискин взял спицу, повертел. Положил на колено.

— И чего?

— Не моя, — сказал кузнец. Потом подумал и добавил: — И клещи не так висят. И угля убыло. Ведра полтора. И горн тёплый. Утром. А я его с вечера гасил.

Анискин поднял голову. Он долго смотрел на кузнеца, и кузнец, не выдержав, снова уставился в землю.

— Сколько раз так было? — спросил Анискин.

— Я не считал, — сказал кузнец. — С весны. Я думал — домовый.

— Домовой, — повторил Анискин.

— Мать говорила, бывает, — сказал кузнец, не поднимая глаз. — В кузнях. Кузнечный.

Анискин вынул ноги из корыта, поставил их на траву, посидел. Потом засмеялся. Смеялся он долго, тихо, сотрясаясь всем телом, и кузнец смотрел на него с испугом, а Глафира, вышедшая с новым ведром, остановилась на крыльце.

— Домовой, — сказал Анискин, отсмеявшись. — Кузнечный. Ох, Юсупов. Ох, голова ты моя чугунная. Ты иди домой, Юсупов. Иди. Спицу оставь. И никому про домового не говори. А то я тебя, партийного, на собрании разберу.

Кузнец ушёл, оглядываясь.

Анискин долго сидел, глядя на спицу. Потом сказал вслух, ни к кому не обращаясь:

— Вор в кузню не пойдёт. Вору в кузне делать нечего. Вор ворует, чтоб унести. А тут, выходит, кто-то не уносит, а приносит. Ковать приходит. С весны. По ночам. — Он покачал

головой. — Это ж не вор. Это ж, мать честная, мастер. И малой. Потому как взрослый мастер днём бы попросился. А малой — стесняется.

Он посмотрел на корыто с водой, потом на свои ноги, белые, распаренные, и сказал Глафире:

— Не носи больше. Хватит. Вылечился.

2

Воровали в Кедровке третий месяц, и воровали так, что Анискин третий месяц не спал по-человечески.

Воровали странно. Не брали ни сала, ни кур, ни денег, ни водки. Не трогали ни сельпо, ни маслозавода, ни колхозного склада. А брали то, что никому, кажется, и не нужно. В апреле с колхозного грузовика у гаража сняли обе фары. В мае с председательской моторки сняли ветровое стекло из плексигласа — аккуратно, на винтах, не поцарапав. В июне со старой трёхтонки, третий год стоявшей на приколе за мастерской, пропал аккумулятор.

А в самом начале, ещё по снегу, у самого Анискина, с его собственного двора, из-под навеса, где стоял списанный милицейский мотоцикл, ночью сняли мотор.

Мотоцикл был списанный, ездить на нём было нельзя, и мотор этот никому не был нужен. Но в райотделе, когда Анискин сообщил о пропаже, сначала решили, что он мотор пропил, а когда выяснилось, что украли, — со двора участкового, из-под носа, — хохотали неделю.

Хохотали, впрочем, не только поэтому. В июне, на районном совещании участковых, Анискину пришлось хуже.

Совещание было в Колпашеве, в большом зале на втором этаже райотдела, под портретом Дзержинского. Собрали сорок с лишним участковых со всего района и два дня учили новым методам. Учил капитан, присланный из области, молодой, в очках, с указкой и с ящиком диапозитивов. Капитан показывал на простыне, натянутой на стену, отпечатки пальцев, следы протекторов, схемы мест происшествий и говорил слова, которых в Кедровке никто не говорил: «трасология», «одорология», «словесный портрет». Особенно он напирал на словесный портрет. Словесный портрет, говорил капитан, есть научный метод описания внешности по строго определённой системе признаков, и каждый участковый должен владеть им в совершенстве.

— Вот вы, товарищ, — сказал капитан и вдруг ткнул указкой в последний ряд, где сидел Анискин. — Вот вы, товарищ ветеран. Попробуйте. Составьте словесный портрет человека, сидящего перед вами.

Перед Анискиным сидел участковый из Тогура, Пётр Кузьмич Лебедев, которого Анискин знал тридцать лет.

Анискин встал. Посмотрел на Лебедева. Подумал.

— Пётр Кузьмич Лебедев, — сказал он. — Тогурский. Рыбу ловит на мормышку, а говорит, что на блесну, потому как на мормышку зазорно. Жена у него Нюра, из Чажемто, бойкая. Второй сын в армии, в Германии, пишет редко. Сам он левым ухом недослышит, это у него с сорок третьего. Пьёт мало, а курит много. Табак свой, с огорода. Вот, — сказал Анискин и сел. — Вот его словесный портрет.

Зал грохнул. Хохотали все сорок участковых, хохотал майор, начальник райотдела, хохотал, утирая слёзы, сам Лебедев. Не смеялся только капитан из области. Он снял очки, протёр их, надел обратно и сказал холодно:

— Это, товарищ, не словесный портрет. Это сплетня. По системе словесного портрета вы должны были указать: рост средний, телосложение плотное, лицо овальное, лоб прямой, нос с горбинкой, уши прижатые. Садитесь. Двойка.

— Я и так сию, — сказал Анискин.

После этого майор в перерыве отвёл Анискина в сторонку и сказал, не глядя в глаза: «Ты, Фёдор Иванович, конспект можешь не вести. Тебе, как ветерану, это необязательно». И Анискин понял, что это значит, и до конца совещания сидел в последнем ряду и молча смотрел в окно, на Обь.

«На пенсию, — думал он теперь, шагая через деревню к Заречной улице, со спицей в кармане. — Мотор у него со двора увели, а он три месяца по деревне бегают, людей обижают. Словесного портрета составить не может. Двойку получил. На пенсию».

И тут же, не сбавляя шагу, подумал другое:

«А всё ж таки по спице понял. И по горну. И что малой. Это капитан со своими диапозитивами не поймёт. Это знать надо. Кто у нас в кузню по ночам ходить станет. Кто к железу тянется. Кто без отца растёт и стесняется днём попросить».

И пошёл быстрее.

3

Тут нужно вернуться на месяц назад.

В середине июня, через неделю после истории с пластинками и за две недели до истории с Генкой Пальцевым, Руматов повесил на дверях клуба новое объявление. Объявление было написано тушью, крупными буквами, и украшено нарисованной от руки шестерёнкой.

ПРИ СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ ОТКРЫВАЕТСЯ

КРУЖОК ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

«ТЕХНИКА — В МАССЫ!»

Приглашается молодёжь, интересующаяся

вопросами научно-технического прогресса.

Занятия по четвергам.

Объявление было результатом трёх бессонных ночей и долгих размышлений над пунктом семнадцатым. Руматов рассуждал так. Деревня находится на ранней стадии индустриализации. Техники мало, а та, что есть, используется варварски. Молодёжь не видит перспектив, бежит в город или спивается. Между тем по базисной теории именно техническая интеллигенция, вышедшая из крестьянской среды, является главным носителем прогрессивных тенденций на данном этапе. Следовательно, содействие её формированию — это содействие естественному, а не искусственному процессу. Следовательно, пункт семнадцатый. Следовательно, кружок.

В первый четверг на кружок пришёл один человек.

Он был худой, длинноногий, с белым чубом, падающим на длинный нос, и с оттопыренными, как у телёнка, губами. Штаны держались на одной пуговице. Ботинки были перевязаны проволокой. Он постоял в дверях, не решаясь войти, а потом вошёл и сказал, глядя в пол:

— Я про технику. Прокофьев я. Виталий.

— Очень приятно, — сказал Руматов и пожал ему руку. — Садитесь, Виталий. Что вас интересует в области техники?

Виталька долго молчал. Потом поднял глаза — светлые, почти прозрачные — и сказал тихо, так, будто признавался в чём-то стыдном:

— Вертолёт.

— Вертолёт?

— Геликоптер, — поправился Виталька. — Чтоб летал.

Руматов понял, что перед ним чудо, примерно через двадцать минут.

Виталька Прокофьев перешёл в десятый класс. Отца у него не было — ушёл, когда Витальке было три года, на какую-то стройку и не вернулся. Мать, Алевтина, работала на ферме, была женщина тихая, болезненная и молотка в руках держать не умела. Дом Прокофьевых, когда-то, говорят, лучший на улице, с белыми воротами и синими наличниками, за годы без мужика осел, покосился, крыша протекла. И всё, что в этом доме ещё держалось, держалось на Витальке. Виталька перекрыл крышу. Виталька поставил новый забор. Виталька починил сарай, сложил новую летнюю печку, вычистил колодец.

А по ночам Виталька строил геликоптер.

Он рассказывал про него сбивчиво, путано, глотая слова, краснея, и Руматов, слушая, всё больше и больше не верил своим ушам. Виталька не знал ни аэродинамики, ни сопромата, ни теории машин и механизмов. Он вычитал что-то в журнале «Техника — молодёжи», что-то —

в «Моделисте-конструкторе», что-то — в старом учебнике физики, а всё остальное придумал сам. Он сам вывел формулу подъёмной силы — неправильную, но почти правильную. Он сам рассчитал шаг винта. Он сам придумал, как сделать автомат перекоса из велосипедной втулки. Всё это было наивно, кустарно, неуклюже — и всё это было гениально.

— Мне книжки нужны, — сказал Виталька в конце. — Я тут считаю, считаю, а оно не сходится. А книжек нету. В школе только учебник. В библиотеке только про войну.

И Руматов книжки достал.

Он сел и написал письмо в районную библиотеку, на бланке клуба, с печатью, с подписью «заведующий Г. Н. Руматов». Письмо было составлено безупречно, на языке протоколов и передовиц: «В целях развития технического творчества сельской молодёжи и в соответствии с решениями партии о научно-техническом прогрессе прошу выделить для кружка юных техников Кедровского сельского клуба следующую литературу...» И через две недели «Пролетарий» привёз посылку: «Теория крыла», «Основы аэродинамики», «Детали машин», «Справочник по высшей математике для втузов». На корешке у каждой книги стоял штамп: «Кедровский сельский клуб».

Но Руматов сделал не только это.

Он стал приходить к Витальке. Сначала по четвергам, потом чаще. Приходил вечером, садился на чурбачок в сарае, где стояла машина, и смотрел, как Виталька работает. И не выдерживал. Подсказывал. Сначала осторожно, намёками, вопросами — «а вы уверены, Виталий, что здесь угол атаки именно такой?» — а потом и прямо. Он проверил Виталькины расчёты и нашёл ошибку в формуле подъёмной силы, ту самую, из-за которой «не сходилось». Он объяснил, что такое крутящий момент и зачем нужен хвостовой винт. Он нарисовал на тетрадном листке схему лопасти — правильную, с переменным профилем, такую, какую сам Виталька придумал бы, может быть, лет через десять.

А однажды, когда Виталька, чуть не плача, показал ему лопасть, клеенную из разноцветных реек и треснувшую при первом же испытании, — Руматов ушёл к себе, порылся в чемодане, достал из потайного отделения плоскую коробочку с аварийным комплектом и вынул оттуда тюбик.

Тюбик был серебристый, без надписей. В Институте его называли просто «клей», и этот клей клеил всё. Дерево, металл, стекло, кость, ткань, кожу — намертво, навсегда, так что шов оказывался прочнее материала. Наблюдателям выдавали его на случай, если придётся чинить снаряжение в полевых условиях.

— Вот, — сказал Руматов, протягивая тюбик Витальке. — Клей. Новейший. Мне... мне один знакомый из Новосибирска прислал. Попробуйте.

Виталька попробовал. Лопасть больше не трескалась.

— А когда она полетит, — сказал Руматов в тот вечер, сидя на чурбачке и глядя, как Виталька, высунув язык, приклеивает к лопасти последнюю рейку, — когда она полетит, Виталий, я напишу в Академгородок. В Новосибирск. Там есть специальная школа для таких, как вы. Физико-математическая. Вас там будут учить настоящие учёные. Вы станете инженером, Виталий. Может быть, конструктором. Вы будете строить настоящие вертолёты.

Виталька замер с рейкой в руке.

— Правда? — спросил он шёпотом.

— Правда.

Виталька ничего не сказал. Но через три дня с председательской моторки пропало ветровое стекло из плексигласа, а ещё через неделю — аккумулятор со старой трёхтонки.

Руматов об этом не знал. Он в это время был занят Генкой Пальцевым.

4

Домик Прокофьевых стоял в конце Заречной улицы, у самого оврага.

Анискин не стал заходить с улицы. Он сел на лавочку у соседских ворот, через дорогу, и долго сидел, глядя на прокофьевский двор поверх забора. Забор был новый, жёлтый, из свежего тёса, и сквозь него ничего не было видно — Виталька ставил его с умом, доска к доске, без щелей. Зато поверх забора был виден сарай, и на сарае — новая крыша, крытая не дранкой, как у всех, а толем, внахлёт, прижатым планками. И из трубы летней печки, которая торчала над забором, шёл дымок. И на коньке дома сидел жестяной петух-флюгер, которого у Прокофьевых раньше не было, и вертелся на ветру, и скрипел.

Анискин посидел ещё. Он вспоминал, каким был этот двор пять лет назад, когда Алевтина приходила к нему жаловаться, что крыша течёт и никто не чинит, а сам он ходил к председателю, и председатель обещал прислать плотников и не прислал. А теперь вон — толь внахлёт. И петух.

— Ишь ты, — сказал он. — Хозяин.

Потом встал, перешёл дорогу и стукнул в калитку.

Открыл Виталька. Увидел Анискина — и не вздрогнул, не побледнел, не попятился. Он стоял в калитке, длинный, нескладный, в замасленных штанах, с белым чубом, и смотрел на Анискина так, будто давно его ждал и даже немного рад, что ожидание кончилось.

— Здравсьте, дядя Анискин, — сказал он.

Анискин молча достал из кармана спицу с оплавленным концом и показал.

Виталька посмотрел на спицу. Покраснел до ушей.

— Это я, — сказал он. — Я её забыл. Торопился.

— Веди, — сказал Анискин.

Виталька повёл его к сараю, отпер замок и отступил в сторону.

Анискин шагнул внутрь — и остановился.

Он ожидал увидеть что угодно: груды железа, разобранные фары, аккумулятор под рогожей. Он увидел машину.

Машина стояла посреди сарая на трёх колёсах — два от детской коляски сзади, одно от тачки спереди — и была похожа на огромного кузнечика, которого собрали из всего, что подвернулось под руку. Длинное тонкое тело из водопроводных труб, сваренных в кузне. Велосипедное седло. Рукоятки с набалдашниками от кроватных спинок. Сзади — фанерный хвост с маленьким пропеллером, покрашенный суриком. А над всем этим, под самой крышей сарая, раскинулись четыре длинные лопасти, клеенные из узких реек — сосновых, берёзовых, кедровых, крашенных в разный цвет, — так что казалось, будто над машиной висит радуга.

Анискин молчал. Потом медленно, тяжело, как обходят корову на базаре, пошёл вокруг машины.

— Фара, — сказал он вслух, остановившись перед носом. — Раз. Фара — два. С ЗИСа. Колхозного. — Он пошёл дальше. — Стекло. Плексиглас. С моторки. Председательской. Три. — Обошёл сбоку. — Аккумулятор. С трёхтонки. Четыре.

Он остановился посередине, перед самым сердцем машины, где между трубами, на подвеске из кроватных пружин, сидел мотор.

Мотор он узнал сразу. Узнал по вмятине на крышке картера, которую сам набил в пятьдесят девятом году, когда завалился вместе с мотоциклом в кювет под Тогуром. Узнал по проволочке на бензокране, которую сам намотал. Мотор был вычищен, покрашен серебрянкой и сиял, как самовар.

— Здорово, кум, — сказал Анискин мотору. — Вон ты где. А я тебя искал.

Он постоял, глядя на мотор, и лицо у него было непонятное.

— Пять, — сказал он наконец.

Виталька стоял у двери и молчал.

Анискин повернулся к нему.

— Это всё ты сам? — спросил он.

— Сам.

— И сваривал сам? В кузне? По ночам?

— По ночам. Днём дядя Юсупов там.

— А попроситься днём — не мог?

Виталька опустил голову.

— Стеснялся, — сказал он.

Анискин хмыкнул.

— Фары красть не стеснялся, — сказал он. — А в кузню попроситься — стеснялся. Ох, Виталька.

Он подошёл к машине ближе, взялся рукой за раму, качнул. Машина качнулась легко, будто ничего не весила.

— А меня бы подняла? — спросил он вдруг.

Виталька посмотрел на него — на всю огромную, необъятную его фигуру, — и честно подумал. Анискин видел, как он думает: как губы шевелятся, как глаза бегают, будто считают.

— Нет, дядя Анискин, — сказал Виталька. — Вас — нет. Вас даже вертолёт Миля не каждый поднимет.

Анискин засмеялся. Засмеялся тихо, одними плечами, и так, смеясь, сел на чурбачок у верстака.

На верстаке лежали книги. Анискин взял одну, верхнюю. «Теория крыла». Открыл посередине. Там были графики, буквы, значки, какие-то крючки и закорючки, и они расплывались у него перед глазами, и Анискин понял, что не поймёт в этой книге ни одной строчки, даже если будет читать её до самой пенсии. Он закрыл книгу.

И увидел штамп.

Штамп стоял на корешке, фиолетовый, чуть смазанный: «Кедровский сельский клуб».

Анискин смотрел на штамп долго. Потом положил книгу обратно на верстак — аккуратно, корешком вверх.

Рядом с книгами лежал тубик. Серебристый, без надписей, наполовину выдавленный. Анискин взял его, понюхал. Пахло ничем — ни клеем, ни краской, ни скипидаром. Совсем ничем, как пахнет вода.

— Это чего?

— Клей, — сказал Виталька. — Новосибирский. Новейший. Им что хочешь клеить можно. Хоть железо к стеклу. Держит — не оторвёшь.

— Новосибирский, — повторил Анискин. — Ишь ты.

Он положил тубик обратно. Помолчал.

— Полетит? — спросил он.

— Я считал, — сказал Виталька тихо. — Три раза. Должна.

Анискин поднялся с чурбачка. Посмотрел ещё раз на машину — на радужные лопасти, на фары, на свой мотор в серебрянке. Посмотрел на Витальку.

— Бензин-то есть?

— Немного.

— Немного, — сказал Анискин. — Ладно. Сиди тут. Никуда не ходи. Машину не трогай. Я скоро.

И ушёл, прихватив с верстака «Теорию крыла».

5

Руматов был в клубе. Он сидел за столом в своей каморке и писал письмо, и, когда Анискин вошёл, не постучав, — вскочил, по привычке щёлкнул каблуками и попытался прикрыть письмо ладонью. Но Анискин даже не посмотрел на письмо. Он положил на стол «Теорию крыла» — корешком вверх, штампом к Руматову, — и сел на кровать.

Руматов посмотрел на книгу. Потом на Анискина. И вдруг улыбнулся — широко, счастливо, совсем не так, как обычно, медленно и культурно, а так, как улыбался, наверное, в детстве, в лесу, с подушкой под рубахой.

— Вы видели, — сказал он. — Вы видели машину. Правда же, это... это...

— Видел, — сказал Анискин.

— Это гениально, — сказал Руматов. — Вы понимаете, Фёдор Иванович? Это гениально. Мальчик шестнадцати лет, в глухой деревне, без образования, без книг, без инструментов, без... без всего — сам, своими руками, из ничего... Вы понимаете, что это значит?

— Из ничего, — повторил Анискин. — Ну да. Из фар от ЗИСа. Из моторкиного стекла. Из аккумулятора. Из моего мотора, с моего двора. Из ничего.

Руматов осёкся.

— Я... я не знал, — сказал он. — Честное слово, я не знал, что он... Я думал, он покупает. Или где-то находит. Списанное.

— Ну да, — сказал Анискин. — Списанное. Мой-то мотор и был списанный. Вот он и нашёл.

Он помолчал.

— Ты ему, товарищ Руматов, книжки выписал?

— Да. Через районную библиотеку. Я...

— И клей дал. Новосибирский.

Руматов ничего не ответил.

— И в Академгородок написать обещал, — сказал Анискин. — Ежели полетит. Он мне про Академгородок ничего не говорил, а я сам знаю. Потому как с апреля по май он одну фару взял. А с июня — плексиглас, да аккумулятор, да за неделю. Торопился мальчишка. Вот я и смекаю: кто-то его подогнал.

Руматов сел. Он долго молчал, глядя в стол, а потом поднял голову и сказал — медленно, как всегда, но с какой-то новой, упрямой ноткой:

— Да. Я обещал. И я написал. Вот. — Он отнял ладонь от письма. — Это копия. Письмо в физико-математическую школу при Академгородке ушло позавчера, с «Пролетарием». И копия — в обком комсомола. Мальчика заберут осенью. На государственный счёт. Его будут учить лучшие учёные страны. Фёдор Иванович, вы же понимаете: здесь он погибнет. Здесь у него нет будущего. Здесь он будет всю жизнь чинить заборы и красть фары. Его необходимо изъять из среды.

— Изъять, — повторил Анискин. Он выговорил это слово медленно, будто пробовал на вкус. — Из среды. Это как Генку, что ли? Тоже изъяли.

Руматов покраснел.

— Это совсем другое...

— Другое, — согласился Анискин. — Ладно. А ты Витальку спросил? Хочет он, чтоб его изымали?

— Он... я ему говорил. Он обрадовался.

— А мать его, Алевтину, спросил?

Руматов молчал.

— Не спросил, — сказал Анискин. — Ну да. Чего её спрашивать. Она баба тёмная, она на ферме работает, она в Академгородках не разбирается. Ты за неё, товарищ Руматов, решил. Да ещё и в обком написал. Чтоб, значит, наверняка.

Он помолчал, глядя в окно. Потом заговорил — тихо, медленно, без всякой злости.

— Ты, товарищ Руматов, дом-то Прокофьевых видал? Двор видал? Забор видал новый? Крышу? Петуха на коньке? Это всё Виталька. Алевтина гвоздя забить не умеет. Отец ушёл, когда Витальке три года было. С тех пор Виталька в доме мужик. Один. Ты его осенью изымешь — кто им дров на зиму наготовит? Кто крышу подлатает, когда протечёт? Кто колодец почистит? Алевтина? Она одна в этом доме за зиму сгинет, товарищ Руматов. А может, и не сгинет, у нас тут не дадут. Да только каково ей будет, а? Каково Витальке будет в этом твоём Академгородке, ежели он будет знать, что мать тут одна, в холодной избе, с дырявой крышей?

Руматов смотрел в стол.

— Ты, товарищ Руматов, говоришь: здесь он погибнет. А он не погиб. Он здесь машину построил. Здесь. В Кедровке. Из кедровских фар, в кедровской кузне, при кедровской луне. Крылья-то, товарищ Руматов, у него здесь выросли. А ты их — по почте. В Новосибирск. В обком комсомола.

Он поднялся.

— Учиться ему, конечно, надо, — сказал он. — Я не против. Захочет — поедет. Сам. Когда мать на ноги поставит, когда сам надумает. Я ему и сам помогу, и председателя заставлю, и всю деревню. А только не так, чтоб по бумаге, из обкома, а его самого не спросили. Не так, товарищ Руматов. У нас тут так не делают.

— А как делают? — спросил Руматов тихо.

— А так делают, — сказал Анискин, — что сперва машина должна полететь. А потом уж поглядим.

Он взял со стола «Теорию крыла» и сунул под мышку.

— Письмо своё отзови, — сказал он уже от двери. — Как хочешь, а отзови.

6

Дело о пяти покражах Анискин закрыл в два дня, не написав ни одной бумажки.

На следующее утро он пришёл к председателю колхоза — молодому, недавнему, присланному из района на смену предыдущему, который теперь сидел на лавочке у конторы третьим, — и, не садясь, сказал:

— Стекло твоё с моторки нашлось. Его Виталька Прокофьев взял.

Председатель побагровел и начал было говорить про хищение колхозной собственности, про ответственность, про то, что надо сообщить, но Анискин его перебил:

— Ты, Сергей Иванович, погоди. Ты погоди сообщать. Стекло он тебе вернёт. Не то, а другое, лучше. Он умеет. Он тебе такое стекло выгнет, что ты на моторке до самого Колпашева без единой брызги дойдёшь. А фары и аккумулятор он отработает. В колхозной мастерской. До конца лета. Без оплаты. Ты ему только скажи, что надо делать, а уж он сделает. Ты таких работников, Сергей Иванович, в районе с фонарём не найдёшь.

Председатель долго молчал. Он был человек городской, недавний, Анискина побаивался и не понимал, а потому спорить с ним не решался.

— А мотор? — спросил он наконец. — Мотор-то милицейский. Государственный. Его ж в район надо...

— Мотор списанный, — сказал Анискин. — Я его ещё раз спишу. Задним числом. Это уж моё дело.

На том и порешили.

А вечером того же дня Анискин надел чистую рубаху, причёсался, побрился и пошёл по деревне.

Он обошёл десять дворов. Колотовкина, который, оказывается, до сих пор с ним не здоровался. Братьев Паньковых, которые были хулиганы, но мотора не брали. Учётчика Ерёмина с его радиоприёмником. Витьку-киномеханика. И ещё шестерых. В каждом дворе он стоял у калитки, снимал фуражку — он для этого даже фуражку надел — и говорил одно и то же:

— Ты, это... ты извиняй меня. Я на тебя думал. А это не ты. Это я, старый дурак, ошибся. Ты извиняй.

Мужики пугались. Мужики не знали, что отвечать. Колотовкин, который воевал в разведке и ничего на свете не боялся, растерялся до того, что предложил Анискину выпить, и Анискин выпил, хотя не пил днём уже лет десять. Младший Паньков, Семён, хмыкнул и сказал: «Ладно, дядя Анискин, бывает», — а потом долго смотрел ему вслед, и лицо у него было непонятное. А Витька-киномеханик, который был подозрительный, вообще ничего не сказал, только кивнул и закрыл калитку, и Анискин потом полдня думал, простил его Витька или нет.

Домой он вернулся затемно, усталый, будто весь день косил.

— Ну? — спросила Глафира.

— Всех обошёл, — сказал Анискин и сел на лавку. — Десять дворов. Всем поклонился.

Глафира посмотрела на него долго. Потом поставила перед ним самовар и сказала тихо, чего никогда ему не говорила:

— Ты у меня хороший, Анискин.

Анискин поперхнулся чаем.

7

Первый полёт был ночью.

Так решил Анискин. «Ежели не полетит, — сказал он Витальке, — так чтоб никто не видел. А ежели полетит — так и при всём народе можно будет. Потом».

В субботу, около полуночи, они втроём — Анискин, Руматов и Виталька — выкатили машину из сарая и повели её к яру, к старому осокору. Вели осторожно, как ведут больную лошадь: Виталька спереди, держась за раму, Руматов сзади, за хвост, а Анискин сбоку, придерживая лопасть, чтобы не задела за плетень. Деревня спала. Только собаки провожали их ленивым лаем из-за заборов, да где-то на другом конце, у протоки, опять играла гармошка.

Ночь была светлая. Над Обью стояла луна — большая, полная, низкая, жёлтая, как начищенный медный таз, — и от неё по воде шла дорожка, широкая, дрожащая, через всю реку, до самого Васюганья. Над кедрачами на том берегу поднимался туман. Пахло рекой, скошенным сеном и бензином.

Машину поставили на краю яра, на ровной площадке, где днём сушили сети. Виталька залил бензин, проверил тросики, подёргал рычаги. Руки у него дрожали. Руматов стоял рядом и тоже ничего не мог с собой поделать — у него тоже дрожали руки.

— Ну, — сказал Анискин. — С богом.

Виталька сел на велосипедное седло. Взялся за рычаги. Посмотрел на Анискина — тот кивнул. Посмотрел на Руматова — тот тоже кивнул. Виталька дёрнул шнур.

Мотор чихнул. Ещё раз чихнул. Закашлял, затрещал — и вдруг заработал, громко, ровно, на всю деревню, и собаки за заборами взвыли разом, как по команде.

Лопасты дрогнули. Медленно, нехотя, тяжело пошли по кругу. Быстрее. Ещё быстрее. И вот уже не было видно ни сосновых реек, ни берёзовых, ни кедровых, а только один сплошной дрожащий радужный круг над машиной, мерцающий в лунном свете, — и ветер ударил в лицо, рванул Анискину рубаху, сорвал с Руматова шляпу и покатил её по траве.

Машина качнулась. Накренилась на один бок. Выпрямилась. И — оторвалась от земли.

Сначала на вершок. Потом на аршин. Потом на сажень. Она поднималась медленно, неуверенно, кособочась, вздрагивая, будто сама не верила, что летит, — и Виталька на ней сидел, вцепившись в рычаги, белый, как его чуб, с раскрытым ртом. А потом машина вдруг выровнялась, повисла неподвижно, как стрекоза над водой, — и медленно поплыла от яра, над осокорем, над обрывом, над рекой.

Она повисла прямо над лунной дорожкой. Внизу дрожала вода, золотая от луны. Вверху дрожали лопасти, серебряные от луны. А посередине, на велосипедном седле, сидел Виталька Прокофьев и смотрел вниз — на Обь, на осокорь, на крыши Кедровки, на свой новый забор и петуха на коньке, на всю свою деревню, которую он видел так впервые в жизни.

Анискин стоял на краю яра и плакал.

Он плакал, не вытирая слёз, не стесняясь, открыто, как плачут дети и очень старые люди. Слёзы текли у него по щекам, по усам, капали на распахнутую рубаху. Он стоял огромный, неподвижный, с руками, сложенными на животе, и смотрел вверх, на машину над лунной дорожкой, и плакал.

А Руматов смотрел не на машину.

Он смотрел на Анискина. Он смотрел и думал о том, что за всю свою жизнь, за все годы в Институте, за все лекции и архивы, за всю базисную теорию — он ни разу не видел, чтобы кто-нибудь так смотрел на будущее. Не говорил о нём, не планировал его, не содействовал ему по пункту семнадцатому, а вот так — стоял и смотрел, как оно поднимается в воздух из колхозного сарая, и плакал. И ещё он думал о том, что этот толстый неграмотный старик,

который не может прочесть «Теорию крыла» и получил двойку за словесный портрет, кажется, видит что-то, чего не видит База. Что-то очень важное. И что он, Руматов, этого не видит тоже.

Машина повисела над рекой минуты три. Потом медленно развернулась, проплыла обратно над обрывом и, кособочась, мягко опустилась на площадку, на то самое место, откуда взлетела. Мотор чихнул и замолчал. Лопасты, замедляясь, сделали ещё несколько оборотов и встали. Стало очень тихо. Собаки за заборами тоже замолчали.

Виталька сидел на седле и не мог встать. У него тряслись ноги.

Анискин подошёл к нему, вытер рукавом лицо и положил ему руку на голову.

— Полетишь в воскресенье, — сказал он хрипло. — При всём народе.

8

В воскресенье на яру стояла вся Кедровка.

Пришли все: бабы в праздничных платках, мужики в чистых рубахах, старики с палками, ребятишки, которые залезли на осокорь и сидели на нём, как воробьи. Пришёл председатель Сергей Иванович. Пришли братья Паньковы. Пришла Дуська из сельпо, закрыв магазин на перерыв в неположенное время. Пришёл учитель Филатов, трезвый и потому злой. Пришли бывшие председатели — их перенесли на яр вместе с лавочкой, потому что без лавочки они идти отказались. Пришла Фрося Бурлакова в своей каракулевой шубке, хотя была жара. Пришёл кузнец Юсупов и встал в самом заднем ряду, потому что ему всё ещё было стыдно за домового.

И пришла Алевтина Прокофьева. Она стояла рядом с Анискиным, маленькая, худая, в чёрном платке, и держала его за рукав рубахи — крепко, обеими руками, будто боялась упасть.

Виталька взлетел.

Когда машина оторвалась от земли, бабы ахнули и закрестились, и даже партийный кузнец Юсупов, не удержавшись, осенил себя крестом, а потом испуганно огляделся, не видел ли кто. Ребятишки на осокоре заорали так, что с того берега поднялись вороны. Машина повисела над яром, прошла над рекой, сделала круг над деревней — над крышами, над огородами, над колхозной конторой, где бывшие председатели, задрав головы, спорили, полетит она или нет, — и вернулась.

Когда мотор смолк, на яру стало тихо. А потом кто-то захлопал. И вся Кедровка захлопала.

— В Москве таких нет, — громко сказала Фрося Бурлакова. — Я, товарищи, тридцать лет в Москве жила. Таких там нет.

Алевтина отпустила рукав Анискина. Она смотрела на сына, который слезал с велосипедного седла, растерянный, красный, счастливый, со своим белым чубом и оттопыренными губами, — и плакала. А Анискин стоял и молчал.

Две вещи в это воскресенье прошли мимо всеобщего внимания.

Первая: в толпе на яру, в самом заднем ряду, рядом с кузнецом, стоял незнакомый человек в сером плаще и шляпе. Он приехал утром на «Пролетарии» и сказал, что он инструктор райкома, приехал проверить состояние культурно-массовой работы. Когда машина взлетела, он не ахнул и не захлопал. Он достал из кармана плаща блокнот и что-то в нём долго писал.

А вторая: письмо в физико-математическую школу при Академгородке, отправленное Руматовым в четверг, так и не было отозвано. Руматов честно пытался. Он сел и написал второе письмо — о том, что первое следует считать недействительным, — и отнёс его на почту. Но почтальонша Клава сказала ему, что первое уже ушло, а второе пойдёт только в следующий четверг, а в обкомах, она слыхала, бумаги лежат долго и читаются медленно, а уж если что прочитали — то назад не воротить.

Руматов отправил второе письмо. Ответа на него не пришло.

Отчёт № 4

Объект «Кедровка». Наблюдатель — Руматов Г. Н.

1. Выявлено выдающееся техническое дарование в среде с низким культурным уровнем: Прокофьев В., 16 лет. Самостоятельно, без систематического образования, сконструировал летательный аппарат вертикального взлёта (геликоптер) с поршневым двигателем. Аппарат совершил два успешных полёта.

2. Наблюдатель в рамках п. 17 оказал содействие: обеспечение специальной литературой, консультации по вопросам аэродинамики.

3. Предлагаю рассмотреть вопрос об изъятии объекта из среды в специализированное учебное заведение (физико-математическая школа, г. Новосибирск). Наблюдатель направил соответствующее ходатайство по местным каналам.

4. Отмечаю реакцию местного населения на полёт аппарата: массовая, эмоционально окрашенная, с элементами религиозного поведения (крестное знамение). Участковый уполномоченный Анискин Ф. И. при первом полёте проявил сильную эмоциональную реакцию (слёзы). Природа реакции неясна. Требуется изучения.

Ответ Базы:

По п. 2–3: напоминаю о п. 17 Устава. Осторожное содействие, а не ускорение. Не ускоряйте. Ходатайство по местным каналам — нежелательная инициатива; возможные последствия для объекта сектором не просчитаны.

По п. 4: эмоциональная реакция участкового представляется естественной. Не все вещи требуют изучения, Антон.

Отдельно: Отдел снабжения сообщает о расходовании аварийного клеевого состава из вашего полевого комплекта. Объясните. — Кондоров.

Руматов перечитал ответ три раза. На последнюю строчку он так и не ответил.



ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. Лосиная кость

1

В начале августа председатель колхоза «Путь к коммунизму» Сергей Иванович Ковалёв перестал спать.

Он был молод, тридцати двух лет, прислан в Кедровку из района полтора года назад на смену предыдущему, который теперь сидел на лавочке у конторы третьим и с которым Сергей Иванович здоровался, отводя глаза. Был он человек городской, с образованием, с партбилетом, с портфелем, с хорошими намерениями, и ничего этого в Кедровке не хватало, чтобы убраться хлеб.

Хлеб стоял. Пшеница на дальних полях за Ерёминым бором дошла и начинала осыпаться, ячмень полёг после дождей, овёс ещё зеленел, а рук не было. Мужики были на покосе, бабы были на покосе и на ферме, молодёжь половину лета пропадала в райцентре, а из района каждое утро звонили по телефону, единственному в деревне, и голос в трубке, далёкий и треснутый, как из колодца, говорил одно и то же: «Ковалёв? Сводку. Почему отстаёшь? Под твою персональную ответственность, Ковалёв». И Сергей Иванович стоял в конторе с трубкой у уха, красный, вспотевший, и говорил: «Принимаем меры», — и знал, что никаких мер принять не может.

В пятницу вечером он сидел в конторе один, над сводкой, и пил холодный чай из графина, когда в дверь постучали.

— Можно? — сказал Руматов, войдя, и снял шляпу.

Председатель Руматова не любил. Председатель вообще не любил людей, которых не понимал, а Руматова он не понимал совершенно: тот был приезжий, как и сам председатель, но приезжий как-то по-другому, неправильно, и деревня, которая председателя за полтора года так и не приняла, к Руматову почему-то относилась с весёлой снисходительностью, как к блаженному. После истории с Виталькиным геликоптером председатель Руматова не любил вдвойне, потому что в той истории почему-то оказался виноват он, председатель, а не Руматов, хотя стекло было его.

— Садись, — сказал председатель. — Чего тебе?

Руматов сел на краешек стула.

— Я хотел предложить, Сергей Иванович, — сказал он медленно. — В связи с ходом уборочной. Я наблюдаю... то есть я вижу, что вы испытываете трудности.

— Испытываю, — мрачно сказал председатель.

— Я хотел бы предложить вам метод. Научный. — Руматов помолчал, подбирая слова, и все слова, которые он находил, были из передовиц. — Радиофикация уборочных работ. Установка громкоговорителей на полевых станах, на току, у правления. Трансляция бодрой музыки, производственной информации, призывов. Это научно доказанный метод повышения производительности труда. Он применялся на передовых предприятиях. Музыка организует ритм работы. Призывы мобилизуют сознание. Производительность повышается на двадцать—тридцать процентов.

Председатель смотрел на него долго.

— Это где применялось? — спросил он наконец.

— На передовых предприятиях, — повторил Руматов. — Об этом писалось.

Это была почти правда. Об этом действительно писалось, в журнале «Знание — сила» за 1957 год и в брошюре общества «Знание» «Музыка и труд», которую Руматову загрузили

вместе с прочими передовицами. Остальное было неправдой, но об этом председателю знать было не нужно.

— А громкоговорители где взять? — спросил председатель. — Из района не дадут. У них у самих нету.

— Один уже есть, — сказал Руматов. — На конторе. Остальные я могу сделать сам. Из клубного оборудования. Я руководитель самодеятельного коллектива, я разбираюсь в аппаратуре. И ещё я бы предложил установить... — он запнулся на секунду, — одно небольшое устройство. Для улучшения слышимости. Противорадиопомеховая защита. ПРЗ. Чтобы сигнал не искажался на большом расстоянии.

— ПРЗ, — повторил председатель. Буквы ему понравились. Буквы были как в районе, как в области, как в тех бумагах, которые приходили сверху и которые он сам не всегда понимал, но всегда уважал.

— ПРЗ, — подтвердил Руматов.

Председатель подумал ещё минуту. Он думал о голосе в телефонной трубке. Он думал о том, что если не уберёт хлеб к двадцатому, его снимут, и он будет сидеть на лавочке четвёртым. И он думал о том, что хуже, чем есть, всё равно не будет.

— Делай, — сказал он. — Делай свою радиофикацию. Под мою ответственность.

2

В ту же ночь Руматов разобрал аккордеон.

Он делал это медленно, при свече, задёрнув окно каморки одеялом. Отщёлкнул медные застёжки футляра, вынул инструмент, положил его на стол, на расстеленную газету, и долго смотрел на него, не решаясь. Перламутр тускло отсвечивал в свечном огне. Аккордеон молчал.

Потом Руматов поддел ногтем панель слева, под рядами басовых кнопок, — там, где Шемахин показывал ему в подвале Отдела мимикирии, — и снял её. Под панелью, в гнезде из мягкого серого материала, лежали блоки передатчика: плоские, гладкие, похожие на кусочки мыла, без единой надписи. Их было шесть. Руматов вынул два.

Он знал, что делает. В Институте, на третьем курсе, был спецкурс «Технические средства массового воздействия в доиндустриальных и раннеиндустриальных обществах». Читал его старый Бромберг, ехидный, всегда недовольный, и одна лекция была целиком посвящена одной планете, о которой в Институте говорили неохотно и вполголоса, — планете, где целую цивилизацию двадцать лет держали в повиновении сетью излучающих вышек. Бромберг показывал схемы. Объяснял принцип. Объяснял, как определённая частота, наложенная на радиосигнал, воздействует на определённые участки мозга и вызывает у подавляющего большинства людей прилив восторженного, некритического энтузиазма. «Это мерзость, — говорил Бромберг, — запомните, это мерзость. Это худшее, что можно сделать с человеком, потому что после этого он перестаёт быть человеком и становится инструментом. Но вы должны знать, как это устроено. Потому что знать — значит уметь распознать». И нарисовал на доске схему.

Руматов помнил схему.

Он говорил себе, пока паял при свече крошечные контакты, что это совсем другое. Что там была диктатура, а здесь — уборочная. Что там людей превращали в инструмент для войны, а здесь он просто поможет им убрать собственный хлеб. Что излучение будет слабым, совсем слабым, на самой нижней границе. Что продлится это всего две недели, до конца уборочной. Что это — естественная тенденция к повышению производительности труда, только немного ускоренная технически. Что пункт семнадцатый. Что председатель сам попросил.

К четырём часам утра «ПРЗ» был готов. Он был размером со спичечный коробок, гладкий, серый, без единой надписи, с двумя тонкими проводками.

В пять Руматов, в серой паре и шляпе, с ящиком инструментов в руке, залез по приставной лестнице к громкоговорителю на столбе возле конторы. Громкоговоритель был старый, жестяной, похожий на огромный раскрытый колокольчик, крашеный когда-то в зелёный цвет, а теперь облупленный и ржавый. Деревня называла его «вышкой», потому что столб, на котором он висел, был самым высоким в Кедровке, выше даже осокоря на яру. Руматов открутил заднюю крышку, вставил коробочку внутрь, подсоединил проводки, закрутил крышку обратно.

На лавочке у конторы, несмотря на ранний час, уже сидели два бывших председателя. Они смотрели на него снизу.

— Ремонтируешь? — спросил первый.

— Устанавливаю ПРЗ, — сказал Руматов с лестницы. — Противорадиопомеховую защиту.

Бывшие председатели переглянулись.

— Защиту, — сказал второй. — От чего защиту?

— От помех.

— А-а, — сказал первый. — От помех. Это хорошо. От помех защищаться надо.

Руматов спустился. Посмотрел на часы. Было пять часов пятьдесят восемь минут. Он записал в книжечку: «Установка завершена. Начало первого сеанса — 6 час. 00 мин.»

Потом подумал и записал ещё: «Второй сеанс — 21 час. 00 мин. Продолжительность каждого — 2 часа. Мощность — минимальная».

В шесть ноль-ноль громкоговоритель на столбе хрипнул, кашлянул и заиграл марш «Прощание славянки».

3

Кость нашёл Дорофей.

Колхозный сторож Дорофей Ильич Бабкин был знаменит на весь район тем, что за двадцать лет службы ни разу не был застигнут бодрствующим. Спал он на крыльце конторы в любую погоду — летом на ступеньках, зимой в тулупе на лавке в сенях, — и обнимал во сне старую берданку, патронов к которой не было с сорок восьмого года. Председатели менялись, а Дорофей спал. Говорили, что он спит даже на собраниях, стоя, с открытыми глазами, и что однажды проголосовал во сне сразу «за» и «против».

В середине августа, пополудни, Дорофей проснулся оттого, что под крыльцом кто-то рыл.

Это был Полкан — ничейный пёс, рыжий, лохматый, с одним ухом торчком, которого вся Кедровка кормила понемножку и который поэтому считался чем-то вроде общей деревенской собственности, как колодец или как бывшие председатели. Полкан рыл под крыльцом яму и, нарыв, пытался запихать в неё что-то большое, белое, явно в яму не помещавшееся.

Дорофей свесился с крыльца, посмотрел, и сон с него слетел впервые, наверное, за десять лет.

— А ну отдай, — сказал он Полкану.

Полкан, который Дорофея уважал за то, что тот никогда не гонял его с крыльца, подумал и отдал.

Дорофей повертел находку в руках. Это была кость — длинная, тяжёлая, мослатая, с остатками жил, ещё розовая на сломе.

— Ишь, — сказал Дорофей. — Это ж не коровья.

На лавочке у конторы, разумеется, сидели два бывших председателя, и через полчаса до участкового уполномоченного Анискина докатилось, что у Дорофея в руках кость, а Дорофей не спит. Второе показалось Анискину едва ли не важнее первого, и через десять минут он сам пришёл к конторе.

Он взял у Дорофея кость, взвесил на ладони, поднёс к лицу, понюхал. Помолчал.

— Сохатый, — сказал он. — Молодой. Третьего дни, не раньше.

Он завернул кость в газету, которая всегда была у него в кармане, и только тогда поднял глаза и огляделся.

Деревня лежала вокруг конторы пустая и безголосая. Не ходили по улицам люди. Не катались на велосипедах ребяташки. Не семенили к колодцу старухи с вёдрами. Не плакали в люльках младенцы. Не стучали топоры, не скрипели калитки, не орали петухи. Только где-то на другом конце, у Изотовых, протяжно, тоскливо, на одной ноте ревела корова.

— Радость-то какая, — сказал Анискин и улыбнулся. — Человека нет в деревне.

Он сказал это громко, как говорил всегда. Но бывшие председатели, которые знали его сорок лет, услышали, что голос у него не весёлый.

Вот уже десять дней Кедровка жила так, как не жила никогда.

Началось это сразу, с первого утра, с первого «Прощания славянки». Анискин тогда проснулся в шесть, от марша, и полежал ещё, послушал. А когда вышел на крыльцо, увидел, что по улице, мимо его дома, идут бабы. Идут с вилами, с граблями, с серпами, торопливо, почти бегом, и лица у них такие, каких Анискин у кедровских баб отродясь не видывал. Светлые. Вдохновенные. Глаза горят. И поют.

Поют «Широка страна моя родная». На три голоса.

Анискин тогда постоял на крыльце, почесал живот, сказал «ишь ты» и пошёл досыпать. Но доспать не смог.

С тех пор каждое утро в шесть и каждый вечер в девять над Кедровкой гремел громкоговоритель, и каждое утро и каждый вечер деревня поднималась и шла в поле, как один чело-

век. Бабы косили до темноты, а в темноте — при фарах тракторов. Мужики вязали снопы и пели. Хромой учётчик Ерёмин, у которого была справка о непригодности к физическому труду, вязал снопы наравне со всеми и пел громче всех. Учитель Филатов, который за десять лет в Кедровке ни разу не был на колхозном поле, был на току — трезвый — и кидал зерно лопатой с такой яростью, будто вымещал на нём все свои обиды на завуча. Витка-киномеханик бросил кино. Кузнец Юсупов не уходил из кузни по двадцать часов. Фрося Бурлакова в своей каракулевой шубке работала на погрузке мешков и рассказывала окружающим, наизусть и с выражением, речь наркома Ворошилова на Всесоюзном совещании жён командного состава в декабре 1936 года, и окружающие слушали её со слезами на глазах.

А на седьмой день, на току, случилось и вовсе странное.

Бабы веяли зерно под «Марш энтузиастов» и, как водилось теперь, время от времени, не сговариваясь, принимались кричать лозунги — все разом, как один голос. Кричали «Хлеб — Родине!», кричали «Слава труду!», кричали «Ура партии и правительству!». И вот посреди очередного «ура» Валька Изотова, стоявшая на ворохе с деревянной лопатой, вдруг выкрикнула звонко, на весь ток:

— Слава Отцам!

Ток подхватил. «Слава Отцам! Слава Отцам!» — кричали бабы, и глаза у них горели, и лопаты взлетали. Кричали минуты три, потом устали и снова взялись за зерно. И только вечером, уже дома, когда громкоговоритель смолк, Валька Изотова, сидя на лавке, вдруг спросила мужа растерянно:

— Колька. А каким отцам-то?

Колька не знал. Не знал никто. Наутро обсуждали у колодца, и одни говорили, что это про отцов-основателей, про Маркса с Энгельсом, другие — что про отцов, погибших на войне, а бабка Сычиха сказала, что про попов, и её чуть не побили. И только бывшие председатели на лавочке у конторы, когда им пересказали, переглянулись и сказали уверенно:

— Это про районных. Отцы-то — они в районе. Их никто в лицо не видал. А они всё знают.

И деревня с ними согласилась.

Детей между тем оставляли одних. Старики сидели по избам голодные, потому что некому было их накормить. Коров не доили. Корова Изотовых ревела третьи сутки, потому что Валька, её хозяйка, ночевала на полевом стане и, когда ей напоминали про корову, смотрела непонимающе и говорила: «Хлеб — всему голова». Председатель Сергей Иванович каждое утро звонил в район и докладывал о рекордных темпах, и голос в трубке, далёкий и треснутый, впервые за полтора года говорил ему: «Молодец, Ковалёв».

И только одно было странно — Анискин это заметил на третий день, а на пятый уже был уверен.

Когда громкоговоритель играл, у некоторых людей болела голова.

4

Их было немного. Анискин пересчитал их по пальцам, сидя вечером у себя под черёмухой, и пальцев хватило на одной руке.

Бывшие председатели. Они сидели на лавочке у конторы, как сидели всегда, и в поле не пошли. Ни в первый день, ни в пятый, ни в десятый. Когда громкоговоритель начинал играть, оба морщились, хватались за головы и мычали, но с лавочки не вставали. Анискин сперва подумал, что это они от лени, по привычке. А потом понял, что не от лени. Просто эти двое тридцать лет подряд, сначала будучи председателями, а потом сидя на лавочке, слушали из этого самого громкоговорителя все лозунги, все постановления, все призывы, все марши и все сводки — и у них выработалось что-то вроде мозоли. Бывшие председатели были невосприимчивы к призывам так же, как кузнец Юсупов был невосприимчив к ожогам.

Сторож Дорофей. Этот просто спал. Громкоговоритель, висевший прямо над ним, ни разу его не разбудил. Но когда Анискин однажды растолкал его в половине седьмого утра, в самый разгар «Прощания славянки», Дорофей открыл глаза, схватился за голову и сказал: «Ой, и болит же, товарищ Анискин. С утра болит. Ровно с похмелья, а не пил».

Аграфена Пальцева. Аграфена считалась в деревне больной головой уже давно, с того самого дня, как в июне увезли в район Генку. Головные боли у неё случались и раньше, но теперь, говорили соседки, они стали другие: страшные, до крика. И начинались они каждое утро в шесть, а каждый вечер — в девять. В девять вечера соседи слышали, как Аграфена воеет в избе.

Дмитрий Пальцев. Пальцев ходил на покос. Впервые в жизни он работал в колхозе старательно, каждый день, от зари до зари, и деревня, глядя на него, говорила: «Ишь ты, и Митрия проняло». Но Анискин видел его на покосе дважды. И оба раза — в шесть утра, когда играл громкоговоритель, — Пальцев стоял, опершись на косу, бледный, с закрытыми глазами, и трогал пальцами виски. А когда громкоговоритель замолкал — снова начинал косить, ровно, мерно, как машина, и лицо у него было при этом спокойное, внимательное и совсем не вдохновенное.

И сам Анискин.

Он не сразу это понял, потому что у него и так всё время что-нибудь болело. Сердце, ноги, под ложечкой. Но к пятому дню он заметил: в шесть утра и в девять вечера, ровно, минута в минуту, у него начинало ныть под левым соском, там, где был старый шрам. Ныть тупо, тяжело, как ноет перед дождём. И в голове становилось мутно, как от угара в бане, когда рано закроешь вьюшку. И мысли делались тяжёлые, медленные, и хотелось куда-то идти, что-то делать, кричать, петь. Анискин в такие минуты садился на лавку, клал руки на живот, закрывал глаза и сидел, пока не проходило.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.